ОЛЕГ ЕРМАКОВ

С ТОЙ СТОРОНЫ ДЕРЕВА

СИБИРСКИЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН

Сибирский приключенческий роман

Олег Ермаков

С той стороны дерева

«ВЕЧЕ»
2015

УДК 821-311.3
ББК 84(2Рос=Рус)

Ермаков О. Н.

С той стороны дерева / О. Н. Ермаков — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Сибирский приключенческий роман)

ISBN 978-5-4444-9230-7

Друзья, вчерашние школьники, отправляются в путешествие на Байкал, в заповедник. Угодья некогда принадлежали эвенкам. Там ныне живут трое эвенков, и один из них, Михаил Мальчакитов, попадает в неприятную ситуацию: его обвиняют в поджоге. Михаилу удается бежать из-под стражи. Голодный и одинокий путь домой становится для него еще и дорогой тайного посвящения, ведь прабабка Мальчакитова была шаманкой, и теперь эта роль выпала ему. Он вновь обретает угодья предков, восстанавливает забытые границы и символы, но роковой выстрел прерывает его путь, хотя, может быть, только здесь настоящее шаманское путешествие и начинается…

УДК 821-311.3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4444-9230-7

© Ермаков О. Н., 2015
© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Часть первая 5
Глава первая 5
Глава вторая 7
Глава третья 11
Глава четвертая 15
Глава пятая 22
Глава шестая 29
Глава седьмая 31
Глава восьмая 34
Глава девятая 40
Глава десятая 45
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Олег Ермаков
С той стороны дерева

Лиде и Валере Меньшиковым, Нине

«…и показал, как читать буквы, находящиеся внутри».
Мирча Элиаде. Шаманизм. Архаические техники экстаза

Часть первая

Глава первая

Ехали мы на поезде вдвоем с Валеркой. Эта поездка давно была запланирована. С девятого класса. Ну да, старая история побегов в Индию-Америку. Только мы собирались рвануть в Сибирь, на Байкал. Книг, журналов, фотоальбомов о Байкале было перечитано-пересмотрено изрядно. Заодно и отчетов путешественников-первопроходцев пространств от Урала до Тихого океана. Вообще-то направление на Байкал выбрал я. Валерке все равно было куда, лишь бы подальше от опостылевшей школы, семейных дрязг. А я с младых ногтей думал о Байкале. Иногда мне кажется, что и родился с этой идеей – поехать на Байкал. Почему-то одни уголки мира нас влекут, а другие – нет. Например, я был и остаюсь равнодушен к югу, Крыму; южная пышность утомляет даже на фотографиях. Но всегда питал симпатии к северу. Особенно к Гренландии. «Гренландская жизнь прекрасна тем, что здесь совсем не думают о жизни ради достижения какой-нибудь цели. Все идет само собой. Приятно не нести с собой флага, не тащить глупого плаката со странным лозунгом, чувствовать, как хорошо остановиться по дороге в никуда и оглянуться назад», – писал мой любимый Рокуэлл Кент. И звучало это как манифест. Именно этого я и хотел: оказаться на дороге в никуда. И меня привлекал этот уголок амбара с айсбергами, слепящими тундрами, по которым беспечного ездока влекут дружно лохматые мощные псы. Да, мир велик, как амбар.

В девятом классе мы уже пытались пуститься в путь по этому амбару, сразу в дальний угол – на Байкал. Наметили встречу на трамвайной остановке. Сперва думали поехать шабашить к дальнему родственнику Валерки, заработать денег и двинуться дальше, в Сибирь.

Валерка уже был на месте. Я припоздал. Медленно шел. С рюкзаком, лыжами. Сначала, выйдя из подъезда, – быстро, потом – потом шаг замедлился сам собою… Путаться стали размышления. Э-э, да, вот уедем из Смоленска, а что там? Кому нужны два недоросля? Что мы умеем? И что предпримут родители? Мои были в разводе, Валеркины нет. Но отец, разумеется, сразу подключится. Хотя сам он в семнадцать лет уехал из деревни в Карелию на лесозаготовки. Ну, так в семнадцать же лет. И времена были другие, потом все равно пришлось доучиваться. А ты, если учиться толком не будешь, поучал меня, бывало, отец, дворником и станешь: налево пыль, направо… И я шел с рюкзаком и лыжами и думал, а вдруг отец прав? Тогда БГ еще пел по флэтам, и песню «Великий Дворник» еще не сочинил. А не зная этой песни, на что надеяться рядовому дворнику?

В общем, к остановке я пришел морально разложившимся. Валерка это понял сразу. Зло как-то глянул. И напряженно спросил, чего это я опаздываю?

«Да-а-а…» – неопределенно протянул я…

Минут десять мы препирались. И Валерка плюнул и уехал все-таки один, к тому родственнику, шабашившему в удаленной точке области, провел у него все каникулы, захватил еще неделю начала третей четверти и – вернулся.

Значит, я был мудрее.

Но всякая мудрость оставила меня, когда был получен аттестат так называемой зрелости. И напрасно родные убеждали, что я глупец, еду за тридевять земель вместо того, чтобы учиться дальше. Глупец рванул, как застоявшийся жеребец, оставив далеко позади мудреца… И у меня есть подозрение, что последний так и не нагнал первого.

С Валеркой мы наскребли денег, продали заезжим полякам у магазина «Спартак» одноместную надувную лодку десантника, которую можно было скрутить до размеров дамской сумочки (лодка досталась Валерке от одноклассника, чей отец служил в ВВС), и палатку – уже не полякам, а нашим рыбакам.

И поехали.

Смоленск-Москва-Урал-Иртыш-в-купе-темнеет-дождь-светлеет-утро-день-ночь-чай-печенье-попутчики-скалы-равнины-снова-огромная-река-Новосибирск-попутчики-меняются-ближе-к-Красноярску-начинаются-горы-на-горизонте-горы-горы-Саяны-еще-ночь-на-полу-речного-вокзала-за-три-рубля-утренняя-«Ракета»-по-Ангаре-порт-«Байкал»-и-сам-он-есть: Байкал.

Полмира ужалось в одно предложение амбарной книги. Просто нам не терпелось поскорее туда попасть. Не знаю зачем. Этот амбар громаден даже для птиц, а что уж говорить о каких-нибудь мелких грызунах вроде нас с Валеркой. Но таковы скорости этой цивилизации: три с половиной дня – четыре тысячи верст – и грызун сидит среди серых и матовых, палевых валунов, под выбеленным куском дерева, на гладкой, согретой солнцем гальке, которую потряхивает ознобная волна, с колоском в лапах. И кажется, что это волна самого космоса, древнего и прозрачного. И смысл его совершенно ясен, буквально зрим, как эти камни под водой. Но ни зубами, ни лапами не вытащишь, как не швырнешь на блюдо косые скулы океана. Это можно лишь видеть.

Глава вторая

В заповеднике, куда мы приплыли штормовой, пронизывающей ночью без звезд, приплыли на шлюпке с двумя или тремя пассажирами, оказавшимися местными жителями, нас не хотели принимать. Здорово под хмельком патлатый лесничий, выслушав наш сбивчивый рассказ, спросил, есть ли у нас вызов. Вызов? Мы сами его бросали – судьбе, ветру, этой ночи, сквозь которую нас вез старый теплоход, точнее, он вез нас две ночи, и мы как цуцики дрожали на палубе, грелись у вентиляционных люков, потому что в каютах все места были заняты, да и денег у нас уже не было, последнее истратили в ресторане – на еду. Но, оказывается, тут были другие порядки. Брошенный вызов – это тряпка. Вызов должен быть получен. А раз не получен, о чем говорить? Этот лесничий в фуражке, из-под которой торчали патлы, был просто философ, хотя и не догадывался об этом. Да и кто догадывался? Мы? Посинелые задохлики, искатели приключений, у которых животы подвело? Сейчас бы я сказал ему, что вызов был получен еще в детстве, а может, в утробе матери. Иначе как объяснить наше прибытие сюда без копейки денег?

Берег, черные волны, смутная полоса песка и громоздящаяся позади лесничего заповедная ночь. И он оборачивается и бросает своему подручному с огромным фонарем и в брезентовом анораке: «Шлюпка, однако, вернется, и…» Он отправлял нас к матери. И почти тридцать лет спустя – то же самое. А что могло измениться?

Отдав приказ, он удалился. На ветру не мед стоять. Да и, наверное, его собутыльники еще поджидали. Мы молча, с досадой и печалью глядели ему вослед, потом оборачиваемся к огням теплохода, остановившегося довольно далеко от берега этой обширной бухты. Что дальше? Куда? Плечистый лесник мигает фонарем матросам, требуя шлюпку. Интересно, что нам скажут на теплоходе? Билеты были куплены только до заповедника. А дальше кто будет платить? Лесник мигает. Волны гремят. Мы видим, как приставшую к теплоходу шлюпку в свете прожектора поднимают на борт. Даже слышим звяканье цепей сквозь вой ветра. «Хрен они вернутся!» Мы ничему не верим. Ни на что не надеемся. Тупо стоим, смотрим.

И теплоход тронулся, загудел на прощание. Лесник засмеялся, повернулся к ветру спиной, сунул фонарь под мышку, нагнул голову, прикурил, глянул на нас из-под козырька лесниковской фуражки. «Ладно, пошли. Он через два дня вернется». Мы сначала не сообразили, о ком, о чем речь. Потом догадались: о теплоходе.

Мы всходили на заповедный берег, шли за нашим провожатым, уже не радуясь и не печалясь, – нам было на все наплевать, забраться бы в спальники. Впереди темнели силуэты домов, деревьев. «Мы бы в тайге перекантовались», – сказал Валерка. Лесник усмехнулся: «Пошли. Здесь заповедник».

Он привел нас к себе. Но это был, как выяснилось позже, не его личный дом, а что-то вроде общежития с тремя отдельными входами. Треть дома и занимал этот парень. Звали его Димкой. «Печь я затапливать не буду, – сказал он, зажигая керосиновую лампу. – А электростанцию у нас на ночь отключают. Так что, ребята, чай утром». Мы легли в пустой комнатке, где, кроме трех железных коек с сетками, ничего не было. Какой, к черту, чай. Здесь не гулял байкальский ветер, сарма, култук или как там его – ветров на этом море посреди горных хребтов, заросших сосновыми борами, пихтами, кедрами, как в мешке Нептуна. И полы не качались. И не гудели осточертевшие вентиляторы. Нет, мы сыты были морской жизнью. Мы – я, почитатель «Моби Дика» и… и…

Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на железной койке в пустой комнате с грязными, оборванными обоями и потолком из желтоватых некрашеных сосновых ровных и плотно подогнанных досок. Высокий прямоугольник окна сиял небом, солнцем и зеленью кедра, росшего прямо напротив окна. Валерка в спальном мешке казался морским котиком, уловленным

железной сетью судьбы. Я растянулся во весь рост в своем спальнике, радуясь, что мы их не продали, мешки, лучше голодать, чем мерзнуть. Хотя чем ты голоднее, тем труднее сохранять тепло. Голод и холод близнецы. Но сейчас я чувствовал только голод. Очень сильный. И уже прикидывал, не продать ли «Альпинист-305», мой верный транзистор, чуть, правда, оплавившийся от костра еще на откосах Днепра. Да, увы, первыми мыслями на заповедном берегу были коммерческие прикидки.

Я выбрался из спальника, натянул штаны, рубашку, надел индийские туфли, единственную мою обувь, точнее, не мою, а старшего брата: он служил в армии, мои шузы развалились, ну и пришлось позаимствовать его еще новые, не босиком же ехать или в резиновых сапогах – через полмира?

И вот: НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВЫЙ МИР, НОВЫЙ ВОЗДУХ.

На крыльце, щурясь от солнца, я огляделся. Забор, пустой двор. Кедр. Соседний бревенчатый дом (это был магазин). Налево – над крышами – лесистые горы. Направо – слепящая синь моря. И сильный аромат, незабываемый аромат баргузинской тайги: хвоя, смола, прель мхов, дурман болотного багульника. Завяжите мне веки, и я найду этот дальний угол амбара по одному только запаху.

Байкал был спокоен. Далеко за его синью лежали акварельные горы, западные, Байкальский хребет, где-то в его теснинах начинается Лена.

Завернув в дощатый скворечник, я возвращался к дому и увидел входящую во двор девушку. Она была в брюках, рябой кофте, волосы рассыпаны по плечам, чернейшие волосы. Смуглое овальное лицо, темные глаза с припухлыми монголоидными веками. Я пожалел, что поленился сразу умыться. Надо было сбегать на Байкал. «Доброе утро», – неуверенно проговорил я. Она слегка улыбнулась и ответила, что уже скоро полдень. Так я и знал. Слишком много солнца. Она несла авоську с чем-то, наверное, из магазина. Я посторонился, пропуская ее к крыльцу; девушка скрылась за дверью, значит, она здесь живет, понял я и пошел к Байкалу, пересек обширную поляну с мелкой травой, спустился к воде, начал умываться; вода была холодной; но я уже взбодрился и, скинув одежду на песок, вошел в воду, бросился вперед и поплыл.

Когда я вернулся, Валерка, заспанный и помятый, с всклокоченной шевелюрой, сидел на кухне и что-то вещал девушке. На плитке дребезжал старый чайник. Девушка смеялась. Валерку осенял дар красноречия в присутствии хорошеньких девушек. Он сыпал шутками, находил какие-то интересные темы. Я так не мог. Даже на теплоходе он познакомился с какими-то геологинями-студентками, они угощали его печеньем-конфетами, дали ему свои адреса, а он им – свой, мол, леснику такому-то, заповедник, как будто его уже приняли на работу. Ха-ха. Через два дня теплоход пойдет обратно. И нас отправят назад, как нашкодивших щенят, школяров, сбежавших с урока… Когда девушка на минуту отлучилась, я наклонился к Валерке и сказал по-дружески насчет его хари. Байкал рядом. «Да что я, морж!» – отмахнулся Валерка и ограничился плесканием у рукомойника. Расческу свою он где-то посеял, у меня ее вообще не было, и Валерка нагло попросил об одолжении у вернувшейся девушки, звали ее Женя. «Парик привести в порядок», – сказал Валерка. Женя улыбнулась и дала ему мелкую мужскую расческу. «О, нет, – запротестовал Валерка, – я обычно причесываюсь граблями». Женя засмеялась и дала ему свой розовый гребень. И Валерка с треском принялся расчесывать свои волосы пепельного цвета – перед поездкой он покрасился. Хотел в персиковый, но я его отговорил:, ну кто нас возьмет на работу? И он расчесывал свои патлы, напевая любимую песенку: «Приморили га-а-ды, приморили. За-а-губили молодость мою-у. За-а-латые ку-у-дри поседели. Знать, у края пропасти стою-ю». Нет, умел он быть непосредственным, легким, интересным. Я ему завидовал. Еще бы. Вызывать белозубый смех этой смуглой девушки.

Мы сели пить чай. Вместо хлеба – галеты; что-то случилось с пекарней или с пекарем, мы не поняли, и хлеба вчера не было. Зато было сливочное масло! Правда, подсоленное. Но и сахар – кусками.

Женя рассказывала, что поехала с подругами после школы в Усть-Илимск на стройку комсомольскую и там повстречала Димку, а он приехал из Грозного. В Усть-Илимске им не понравилось, они перебрались на БАМ, в Нижнеангарск, а оттуда уже – сюда. Здесь хорошее место, спокойно, есть клуб, с почтой привозят новые фильмы, в магазине – снабжение бамовское, директор постарался, навел мосты, всегда сгущенка, тушенка, хорошее вино «Кубань», осенью катер доставляет картошку, капусту, здесь-то ничего не растет, ну, если только в теплицах, но возни много; зато в тайге ягода, черемша.

Да, этот угол амбара узнаешь не только по аромату, но и по речи. Нам, только что пребывавшим совсем в другой речевой зоне, слушать эту девушку, как, впрочем, и остальных аборигенов, было чудно. Эта речь была отрывиста, тверда в основе, как испанский, только бесконечные «чё-о» ее умягчали. Пройдет немного времени, и мы сами будем чёкать и где ни попадя вставлять многозначительное «однако».

Но должен признаться, что сообщение о замужестве девушки с монголоидными глазами меня разочаровала. А Валерке все нипочем. Как и прежде, нарезает круги, веселится. Успевая трещать галетами с маслом и сахаром. Ну, я тоже ем, но пытаюсь сдерживаться. Хотя есть хочется все сильнее и сильнее.

И тут пришел ее муж, Димка, с упрямым лицом, широкоплечий, невысокий. Взглянул внимательно на Валерку. Я схватил на лету его вопрос молчаливый, а Валерка ничего не замечает, токует, выписывает пируэты. Рассказывает о наших походах, о Москве – как будто он москвич. Хорошо, если бывал в столице пару раз, участвовал в родительских набегах за колбасой-горошком-шпротами.

Димка послушал и в паузу – Валерка допивал чай – вставил вопрос: так что, вы туристы? Через два дня снова в Москву?

И тут мы вернулись на землю Подлеморья… Так называется этот край. И ведь не сработало клише? Вернуться на землю – значит, осознать суровую действительность, рухнуть из облака мечты на жесткие выступы реальности. Но «Подлеморье» тут же упраздняет жестокий смысл фразы. «Подлеморье» звучит слишком празднично, по-пушкински. Надо следить за словами. Но и они следят за тобой и впархивают, как птицы в открытую форточку.

И все-таки Валерка поперхнулся, закашлялся.

– Нет! Обратно мы не поедем.

Димка усмехнулся и объяснил, что тут заповедник и дикий туризм запрещен.

– А правда, вы чё-о? На работу сюда приехали? – спросила Женя.

– Да, лесниками, – признался я.

Димка покачал головой.

– Так вам восемнадцати нет.

– А тебе? – спросил Валерка.

– А мне есть, – ответил Димка.

– Месяц назад всем поселком отмечали, – добавила Женя.

Димка покосился на нее, в некотором смущении потер переносицу. И заговорил уже проще, по-свойски. Посоветовал отправляться сейчас же к директору, у него сегодня отличное настроение, и проситься в лесной отдел рабочими: вот-вот сенокос начнется, руки нужны.

– И, короче, лучше на всех парах, – сказал Димка, делая энергичный жест. – Пока он на месте. А то уедет куда, и власть у Аверьянова.

Мы поинтересовались, кто это. Оказалось, тот патлатый лесничий.

Мы встали.

На улице нам повстречался невысокий мужчина средних лет, с тонким загорелым лицом и большими выпуклыми карими птичьими глазами. Мы бы прошли мимо, но он нас сам остановил, спросил, у кого мы гостим? Мы ответили вразнобой. «Ни у кого», – ответил я. «У Димки», – сказал Валерка. На лице мужчины появилась улыбка.

– Ну а все-таки?

– Мы идем в контору, – дипломатично ответил я.

– По личному вопросу, – добавил Валерка.

– Не знаю, – сказал мужчина, – принимают ли сегодня по личным вопросам.

Валерка бросил взгляд на меня, мол, о, черт, и здесь бюрократельство! Так обычно мы называли все эти крючки и задрючки госмашины.

– Но мы по вопросу трудоустройства, – сказал я растерянно.

– Трудоустройства? Ну, тогда другое дело, – ответил мужчина. – Говорите, я вас слушаю.

Мы уставились на него.

– А вы… – начал Валерка.

Мужчина кивнул. И мы объяснились.

– Ну а литовку-то в руках держать умеете? – вдруг спросил он.

– Винтовку?! – вскинулся Валерка.

Мужчина засмеялся.

– Ладно! – сказал он. – Идите в контору к Любе. Пусть оформляет. Поедете на кордон.

Это и был директор.

– Я не схватил, что он говорил про винтовку? – беспокоился Валерка.

Я пожал плечами. Мы шагали к конторе, большому бревенчатому дому на самом берегу, в окружении нескольких кедров, за которыми простиралась морская синева, сквозили невесомые мысы и далекие очертания горного массива, – полуострова Святой Нос, как мы позже узнали.

В конторе миловидная молодая женщина завела нам трудовые книжки на двух языках, русском и бурятском, вписала в них наши имена. Ажалай дэбтэр – так по-бурятски звучало название моей первой книжки.

Вечером на моторной лодке мы отплыли на Северный кордон.

Глава третья

Поселились на самом берегу, в мастерской; удобно – умываться можно в море, не таскать воду в рукомойник. В мастерской был верстак с тисками, наковальня, на полках всякий инструмент, по стенам хомуты развешаны; пол земляной; печка и широкие нары у окна, на которых запросто разместилось бы полвзвода.

На кордоне было два дома, третий строился; конюшня; хлев, баня, коптильня для рыбы. На берегу моторка и деревянная весельная черная тяжелая лодка – фирменная лодка Байкала, мы такие всюду видели.

Дома на верхней террасе занимали лесники: старший лесник Герман Васильевич с женой и сыном и два Толика, оба горожане, примерно одного возраста, лет двадцати трех, приехавшие сюда после армии; да и Герман Васильевич, коренастый продубелый мужик с крепкой головой в черных колечках волос, уже серебрящихся слегка, был горожанином, учителем физкультуры. Мы порадовались, узнав об этом: значит, и мы на верном пути. Один Толик приехал из Днепропетровска, другой – из Ижевска – их так и звали в поселке – Толик Ижевский и Толик Днепропетровский. Правда, тот, что из Днепропетровска, не прямиком из Днепропетровска прибыл сюда, а из Усть-Баргузина, большого рыбацкого поселка за Святым Носом, туда переселились его мать и брат. Днепропетровский Толик был невысокий, темноволосый, реактивный, а Ижевский высокий, светлокурчавый, синеглазый, странноватый, замедленный.

Другие обитатели кордона – лайки в вольере, корова с теленком, поросенок, кот, куры и рыбацкий пегий конь Умный, с широкой спиной и толстыми ногами.

Вдоль береговой кромки тянулись сильные узловатые красные лиственницы, выпрастывали корни, цепляясь за белый песок. И для меня не кедр, не рододендрон стали вестниками Байкала, а лиственница. Все объясняется очень просто. В Смоленске перед библиотекой, в которой я пасся, собирая сведения о сибирском море, росли две лиственницы с причудливыми кронами. И, проходя мимо, я улавливал смолистый аромат и думал – да, так и думал, что это вестники.

И теперь аллея лиственниц над морем была самым убедительным свидетельством сбывшихся мечтаний. Вот Байкал, тайга, горы, окраина мира. Живи.

И мы зажили, как могли.

Утром вставали, по песку доходили до воды, умывались, чистили зубы; если было тепло, так и окунались. Правда, в первый же ночной шторм мы пожалели, что вода близко: волны так грохотали, что полати под нами сотрясались. Лежать в кромешной тьме было как-то неприятно. Валерка не выдержал и зажег керосиновую лампу. Я потянулся к приемнику, сразу поймал китайцев, немного послушал это кошачье наречие, перевел поисковик дальше по шкале, наткнулся на музыку… какую-то тягомотную попсу; к сожалению, возможности приемника были ограничены двумя волнами: длинными и средними, – а так бы мы уже слушали «Голос Америки», рок-н-ролл, естественно; я гнал колесико по радиостанциям, провалился в какую-то симфонию, Валерка застонал, как от зубной боли. И я просто выключил приемник. И мы лежали и слушали, как в головах у нас грохочет-скрежещет Байкал. Валерка вдруг припомнил о Провале, я когда-то рассказывал. Да, факт: в новогоднюю ночь 1861 года под воду ушла обширная территория с улусами, пастбищами, людьми, естественно, и стадами, и это место с тех пор носит на Байкале наименование Провала.

Мы послушали биение моря.

– А если тут у нас в головах намечается второй провал? – спросил Валерка.

– Значит, надо идти спать в лодку, – сказал я.

– Засосет, как «Титаник».

Я вспомнил историю про Гильгамеша, точнее, про того старика бессмертного, к которому Гильгамеш добрался в поисках вечной жизни. Старик рассказал, как стена ему шепнула о готовящемся наводнении, и Гильгамеш построил корабль. Валерка сразу отреагировал:

– Ковчег? Так это церковные сказки.

– А по-моему, шумерские легенды.

Мы заспорили. Валерка ссылался на свою бабку. Никто из нас Библию и в глаза не видел. Этот аргумент был в мою пользу. Про Гильгамеша-то я читал.

– Ладно, а что там, тоже опустилась суша? – спросил Валерка.

Я этого точно не знал. Мы послушали бой волн о берег.

– Все-таки странно, – сказал Валерка, – здесь же не Средняя Азия. Никогда не думал, что в Сибири бывают землетрясения.

Но это было еще не землетрясение, и в конце концов нас сморил сон. Проснулись мы там же, на полатях, в Восточной Сибири, Северный кордон. Не провалились.

Питались мы довольно скромно: рожки с подсолнечным маслом, перцем и лавровым листом – любимое блюдо Толика Днепропетровского, он научил нас готовить; бесконечные чаи с галетами, хлебопекарни на кордоне не было, а жена Германа Васильевича, дородная светлая Ириада Максимовна, хлеб выпекала в печке только для себя. Да нам все равно было, хлеб ли, галеты. Галеты так галеты. Но позже мы разжились мукой, и Валерка пек блины. Блины у него получались тонкие, как будто вышитые нитками теста, узорчатые, мягкие. Наверное, у бабки выучился печь. Нет, оказалось, у отца.

На блины к нам приходили оба Толика. Как-то так получалось. Возникала вдруг такая надобность: найти в мастерской какую-то железку или что-то уточнить, обсудить какую-нибудь новость. Первым обычно заглядывал более быстрый Толик Днепропетровский, коротко стриженный, с узловатым носом, узким лбом. Нос-то его и вел в мастерскую, где Валерка в сизом чаду стоял со сковородкой над пылающей печкой. Потом подтягивался и Толик Ижевский, высокий, синеглазый, с широким лбом, уже покрытым морщинами: он много думал о чем-то. Более того, я однажды видел его с толстой тетрадью, исписанной мелким почерком; такие тетради назывались общими. Интересно, что за общие вопросы, темы поднимались в этой тетради? Меня это очень занимало.

Однажды блинный вечер затянулся; мы валялись на полатях и травили байки; ну, мы-то с Валеркой слушали, а рассказывали два Толика, точнее, один, Днепропетровский, а второй, погруженный в думы, курил и поддакивал. Это были местные былины о хозяевах, живущих в каждом доме, зимовьюшке, о странных смертях и пропажах.

– Вот видали обелиск у конторы? Это могила четверым студентам, двум парням и двум бабам…

– Ты же говорил, все студенты? – уточнил я.

– Ну да. Студенты. А чё-о, бабы не студенты?

– Не обращай внимания. У него литературные понятия, – объяснил Валерка. – И дальше?

– А дальше было странное. Они уже должны были возвращаться в Ленинград, практика закончилась. Решили отметить это дело, взяли лодку моторную, поплыли в устье Большой, речка тут неподалеку от кордона, наловили рыбы, разожгли костер, всё разложили, выпивку, закуску – и пропали. Бесследно. Все четверо.

– А лодка?

Лодка, рассказывал Толик Д., осталась вытащенной на берег наполовину, мотор в порядке, нигде никаких следов крови, борьбы. А людей нету. Сразу подумали: медведь. Но пошарили вокруг – нет следов. Искали в тайге, вертолетом облетали, так ходили. Нет. Утонули? Но водка не почата. И дно у берега баграми прощупывали, потом и водолаза вызывали… Тут Толик И. (Ижевский) заметил, что течением речки их могло слизнуть как языком и уволочь далеко. Но зачем, прикинь, им в воду лезть трезвыми? Вскинулся Толик Д. Заспорили. Так

ни к чему и не пришли. Заварили еще чайку. Толик Д. вспомнил новую историю, про бригаду лесорубов, исчезнувшую таким же макаром. И заявил, что есть какой-то голос у Байкала, особенный.

– Ну, это ты про поющие пески? – спросил Толик И.

– Это просто звон песчинок! – отмахнулся Толик Д., размешивая сахар в алюминиевой кружке ножом. – Здесь другое что-то… Другие частоты.

Я об этом читал, что есть место на Байкале, где пески издают звуки. Оказалось, что эта бухточка не так и далеко – по местным меркам – отсюда: речка Томпуда, мыс Турали. Правда, ни тот, ни другой Толики не слышали сами, но знали от слышавших, что это похоже вроде на скрипку. Или на свист. Толик И. стоял за скрипку. Толик Д. – за свист.

Я подумал, что надо будет обязательно туда добраться и послушать.

А наш сказитель с узловатым носом – перебит, что ли, был, и поэтому голос его звучал несколько гнусаво – продолжал былины под блины с черным чаем; в доме плавал дым табачища, курили все, кроме него, недавно бросившего. Теперь он повествовал о хозяевах. Об их проделках с нерадивыми таежниками, студентами, туристами-чайниками. Хозяева были обидчивы, злопамятны, вспыльчивы, но к понимающему народу добры. Вот приходишь в зимовье, устал по самое не могу, даже жрать неохота, лишь бы завалиться на нары; и заваливаешься, забыв главное: поздороваться с хозяином и попросить у него позволения переночевать; так ночью сна и нет, изворочаешься, утром встанешь как побитый кочергой, волосы дыбом, морда пучеглазая, ходишь, спотыкаешься, все валится из рук, вода в котле только вскипит, снимаешь – опрокинул и т. д. и т. п. А причина проста: не уважил хозяина. После этого можешь и вообще заплужать, уйти считать сосны. Короче, всякая хреновина творится. Вот я раз так пришел на Литоминское зимовьё, рассказывал Толик Д., сведя брови к переносице и трагически глядя на язычок пламени в лампе. Мы тоже на лампу уставились. И мне в одно из мгновений почудилось, что рассказ плетет керосиновая лампа. И сколько еще предстояло выслушать при ее красноватых бликах здесь, на кордоне, в зимовьюшках, раскиданных по тайге и горам, в домах на центральной усадьбе…

– …сижу себе, ем рожки с подсолнечным маслом, сваренные, как люблю – чтоб стучали, и вдруг… выдыруг слышу кто-то в дверь… шкрыбется…

И в этом месте рассказа дверь – дверь нашей мастерской, а не зимовьюшки в далекой таежной ночи – дрогнула и заскрипела.

Рассказ приостановился. Язычок пламени как будто тоже замер, вытянувшись.

Наступило молчание.

Все головы были повернуты к двери, освещенной красновато, зловеще. В моей голове пронеслась мысль о голосе Байкала и вообще о зыбучих песках действительности, в которые легко провалиться или из которых так же легко может восстать что-либо подспудное, древнее. Судьба стучится в дверь и распахивает ее, как Бетховен. Человек тоже не мешкает. А вот кто так медленно-вкрадчиво тянет ржавые жилы? Кто тычется в образовавшуюся щель? Кто шумно дышит? И кто просовывает морду с черными провалами ноздрей? Длинную морду?!

Раздался душераздирающий гогот. Толик Д. вскочил, схватил сапог и запустил его в дверь.

– Гад!

Дверь тут же закрылась.

– Постой, – забормотал Толик И., вытирая слезы и еще давясь смехом, – не надо… он же уйдет в тайгу.

– Он и так ушел! Кто не закрыл конюшню?

Это был рыбацкий конь Умный. Почему рыбацкий? Его купили в рыболовецком колхозе, он там тягал лодки, сети, а здесь на нем возили еду, спальники, чайники, пилы, топоры во время полевых экспедиций и всё. Зимой его вообще не трогали, только поили-кормили. Так что после

колхозной страды трудяга Умный вел жизнь сибарита. Но и это в одиночестве надоедает. Вот он и решил немного развеяться, заглянул на огонек.

Посыпались новые байки, язычок керосинки заплясал веселее, но лично я уже таращился на него из последних сил и слушал вполуха; было два или три часа ночи, и никакой хозяин не мог меня остановить: я стремительно падал, падал в провал, космически-черный и глубокий… Ну вот, язык не врет: есть провал у нас в головах, и мы там бродим, наталкиваемся на различные предметы, видим колонны и мосты, и – тень, шарахаемся и вдруг понимаем, что это наша собственная тень в неверном свете керосиновой лампы, зажатой в руке. Там можно встретиться с кем-то из настоящего, прошлого и будущего – приблизиться и посветить в лицо: это ты? а это – я?..

Глава четвертая

«Вылезать из теплой постели – он любит ее, и она у него есть – и, не позавтракав, в темное морозное январское утро, положив каяк на голову, тащить его милю или две по неровному льду до чистой воды, спустить на воду и грести туда, где с первой полоской рассвета могут появиться тюлени, ждать часами, мерзнуть, отмораживать щеки и руки; и делается это не по фабричному гудку, не в точно установленное время и не под присмотром хозяина, а по собственной воле и изо дня в день – вот что формирует характер эскимоса». Я уже говорил, что пассажи из Рокуэлла Кента звучали для меня как манифест и – надеялся я – как предсказание. И вот только что зачитанное сбывалось на кордоне. То есть не всё, конечно. Каяки нас никто не заставлял таскать, бить тюленей было нельзя, да и работой нас не загружали. Здесь ею никто и не был особенно обременен. Куда спешить? Лет впереди много. Хлеб и огонь будут, за осенью и зимой вновь придет лето, а небеса высоки и Байкал вечен. Оба Толика и Герман Васильевич потихоньку строили третий дом, гостиницу для приезжих. Нам с Валеркой поручали всякие мелкие дела: просмолить сани, телегу, волокушу, сложить поваленную ветром поленницу; потом дали – наконец-то! – литовку. Оказалось, что это коса. И мы принялись учиться косьбе: сшибали травы за конюшней. Герман иногда подходил, смотрел, посмеиваясь (у него, кстати, такая привычка была – вечно посмеиваться), или морщины у глаз так собирались, рот слегка кривился, что казалось – подсмеивается, – и демонстрировал, как надо, чтобы острие штопором не уходило в землю, а пяточка не задиралась вверх. Мы старались перенять эту науку. И если Валерка вгонял острие в кочку, я не упускал случая позубоскалить насчет винтовки-литовки, мол, э, паря, крота в глаз бьешь? А надо – бе-е-лку. В вечной мерзлоте какие кроты? Валерка злился. Он вообще всегда был не прочь поохотиться, что-нибудь добыть. Чем-то он напоминал Толика Д. А я – Толика И. Мне больше нравилось смотреть, Валерке – что-нибудь делать. То есть я был созерцателем, да, это все-таки звучит получше, чем лентяй. Еще в школе я это усвоил и отвечал на упреки матери, что по природе своей я – созерцатель. Дядя, фронтовик-танкист, бывший радиожурналист, а ныне преподаватель сельхозакадемии, однажды услышав ее жалобы на меня и на мою отговорку про созерцательную природу, грубо расхохотался и срезал: «Ни один созерцатель не был тупицей!» Я вспылил, мол, какой еще тупица?! «Ну, если зарос тройками, как поросенок вшами, кто же ты? Сократ? Аристотель?» – спросил дядя. Кто же я, откуда мне знать. Может, я сюда и ехал, чтобы в это врубиться.

Герман Васильевич по утрам снимал сети. Ему помогали то сын Борис, девятиклассник, осенью уезжавший в интернат, то кто-нибудь из Толиков. И как-то вечером он предупредил, что утром возьмет в помощники меня. Вот оно, подумал я, гренландское. И утром проспал. Герман разбудил не меня, а по ошибке Валерку. Тот противиться не стал, еще бы, вчера он места не находил от зависти. А я проснулся, смотрю: ни Валерки, ни Германа Васильевича. Ну, думаю, мало ли… Валерка вернулся и с грохотом поставил ведро, из которого торчали головы и хвосты живой еще, бьющейся рыбы. Смахнул чешую со щеки, достал папиросу, закурил. Глаза его радостно синели. Я проклинал будильник. Почему-то он не зазвонил.

Вот так я проспал рыбацкое счастье, не знаю, как это еще назвать, – проспал первородство. Ладно бы за похлебку уступил, а так – ни за что.

Проспать первую рыбалку на море – с чем это сравнить? С первым свиданием, на которое по какой-то глупости не пришел?

Мы заспорили, кому рыбу чистить. Ведь это была моя очередь плыть. А чистить должен был бы он. Но раз так получилось?.. В конце концов, взялся за нож я. Ели вдвоем. Свежая рыба, изжаренная на подсолнечном масле, с перцем, солью, на огне смолистых дров, – это был поистине царский обед после рожков да китовой колбасы. Мы два дня вкушали этот дар моря. И Герман Васильевич снова предупредил меня, что утром будем вынимать сеть. На этот раз

я проснулся за час до срока; в нашей кельне, как ее называл Толик И., было еще сумеречно, да и днем-то не много света проникало через единственное небольшое окно. Я встал, натянул брюки-рубашку, вышел на берег. Море было сизым, спокойным, без волн. Называть Байкал морем мы быстро выучились, еще когда плыли на пароходе в последнюю штормящую ночь, смекнули, что это – стихия. Хотя штормец был невелик, я читал, какие шторма там бывают: волны до трех метров, причем налететь могут внезапно, как татары; есть там устье реки Сармы, и ветер, вдруг вырывающийся оттуда, из распадка гор, также называется сарма. Говорят, это мятеж. Баржи переворачивает, лодки уносит. На счету этой сармы много погубленных жизней. Есть ветер култук, тоже с крутым нравом, в самом названии что-то такое слышится… Умывшись, я вернулся в кельню, поел галет с сахаром, запил вчерашним чаем, усмехаясь: а видно, монахи так и жили. Ненароком вспомнился мне и огненный пророк Аввакум, бывавший здесь в ссылке, почти год он на подводах сюда добирался, претерпевая от воевод, начальников караванов. Увидел Байкал, исполненный рыб, гусей-лебедей, как снегом.

…И за этой рыбой вышли мы час спустя в море на деревянной лодке. Греб Герман Васильевич, в брезентовых штанах, красном рваном свитере, броднях – рыбацких сапогах с высоким голенищем. Поглядывал на индийские туфли моего брата, посмеиваясь, ну, как обычно. Валерка тоже ходил не в таежной обувке: в плетенках. Денег у нас на бродни еще не было. Байкал немного посветлел, но оставался неярким, дымчато-серым. Над Баргузинским хребтом все было завалено облаками, синими и плоскими, как киты: они солнце и съели. Ветер молчал. Было тихо, тепло. Я смотрел в воду и видел внизу камни… Вдруг проплыла ленивая рыбина! Я быстро взглянул на крупное лицо Германа, красноватое от загара и цвета свитера, но от восторгов удержался.

Скрип уключин.

Всхлипы чистой воды.

Что еще добавить, чтобы вышло хокку августа и рыбалки?

Герман Васильевич глянул в воду и начал разворачиваться.

– Чё-о, – сказал он хрипловато, – паря, давай садись сюда, держи весла.

И мы поменялись местами. Я должен был удерживать лодку примерно на одном месте. Это было нетрудно на такой тихой воде. Я и шевелил тяжелыми веслами туда-сюда, а старший лесник, покряхтывая от натуги, вытягивал сеть. На дно лодки упала первая рыбина с жирным белым брюхом, зашлепала хвостом, за нею последовала вторая… Вскоре я потерял счет. Рыбы было много. Она покрыла дно лодки, била меня по щиколоткам, кругло глядела черными зрачками в оранжевых и красных радугах, наполняя воздух самым чудесным ароматом – свежим, терпковатым, женственным. Это был самый крупный улов в моей жизни, предыдущей и последующей. Вряд ли уже я попаду на какой-нибудь сейнер. Мне даже показалось, что наша черная лодка грузно осела в дымчатых водах, когда узловатые пальцы Германа Васильевича выпутали последнюю рыбину, и он кивнул мне: «Греби». И я заработал тяжелыми веслами, начал поворачивать лодку. Не все у меня получалось ладно, весельная лодка такой конструкции не байдарка, на которой я привык плавать, но все же мы двинулись к берегу с вереницей лиственниц и приземистой темной кельней на переднем плане.

И снова мы с Валеркой жарили рыбу на подсолнечном масле в большой чугунной сковородке, посыпая ее перцем, солью, и потом уминали, хрустя корочкой, галетами, облизывая пальцы. И думали, как бы это нам наладить бесперебойную доставку рыбы к столу? Смешно, но, собираясь в дальний путь, мы не взяли с собой никаких снастей, просто забыли. А здесь где купишь? У одного из Толиков – Днепропетровского – был спиннинг, но не просить же? Это как трубку просить покурить. Второй Толик к рыбалке был равнодушен. Да им, видимо, хватало того, что приносили плавания со старшим лесником. Или рыба уже приелась… А нам не хватало. И рыба была в охотку. Но Герман Васильевич почему-то больше ни меня, ни Валерку не брал в долю. Плохими оказались помощниками? Или в чем дело? Может, он нарочно нас

только приобщил, и всё. Ведь прибрежная зона моря считалась тоже заповедной. Ловить там сетями было нельзя.

В первых числах августа начался покос. Весь вечер перед этим на кордоне звенела дробь странного дятла, усевшегося на некое железное дерево. Даже Толикам старший лесник не доверил этого тонкого искусства – отбивания косы. Жало косы надо не просто расплющивать молоточком на наковальне, а тянуть беспрерывно, чтобы оно на миллиметры росло. Одно неверное движение – и получится плюха, ухо, еще хуже – трещина. Все мы почтительно внимали перезвону, вылетавшему из-под крепких корявых пальцев старшего лесника и отдававшемуся дробным эхом в тайге. Учились глазами.

Рано утром вышли на Ближние Покосы. Это было рядом, две обширные поляны в окружении кедров. Герман Васильевич поплевал на ладони, посмеиваясь, как водится, взялся за косу и, бросив сакраментальное: «Однако, паря… пошли!» – принялся ловко и быстро, но в то же время и как-то плавно резать траву, валить ее набок, шел вперед, а позади тянулся уже зеленый валик, небольшой, травы там росли негустые все-таки, таежные. За ним пристроился Толик Д., дальше Толик И., потом Валерка, замыкал это шествие гребцов травы я. Да, мы как будто гребли в одну сторону, все поворачивали, поворачивали и не могли никак развернуть невидимую пирогу. Быстро стало жарко. А не разденешься. Вокруг вились комары. Но мы еще не знали, что нас ожидает на Дальних Покосах. Пройдя до конца поляны, Герман Васильевич подхватил пук травы, вытер лезвие и пошаркал по нему брусом – поправил. Вернулся к началу, поглядывая на нас. Посмеиваясь, конечно. Мы старались изо всех сил, упирались – кажется, всеми четырьмя конечностями, – пытаясь захватить круг не маленький, бабский, как говорят косцы, а приличный, мужицкий, и в то же время прижимали полотно, чтобы короче резало, но избежать шутки не удалось: «А эти хлысты чё-о оставляете, кого привязывать за яйца?»

До обеда, мы думали, не доживем.

Но вот Герман Васильевич сказал: «Баста!» – утирая медное лицо летней матерчатой кепкой, и му́ка закончилась. Пошли на кордон обедать.

Умылись, расселись вокруг длинного дощатого стола во дворе у старшего лесника. На столе перед каждым стояла алюминиевая миска. Посредине горкой нарезанный хлеб под марлей от мух. Ириада принесла чан с ухой. Запу́стила в уху черпак. Мы подставляли миски. Разобрали ложки, хлеб.

– И чё-о, надо начало отметить? – спросил Герман Васильевич, посмеиваясь и подмигивая своей светловолосой супруге.

И та бессловесно удалилась и принесла стопки, бутылку белой.

Три стопки.

– А себе? А р-рыбятам? – спросил Герман.

Мы с Валеркой напряглись.

– А им и не надо, – сказала Ириада ласково и певуче.

– Молодые ишшо, – поддакнул Толик Д. Он иногда нарочно коверкал слова. А может, уже и привык. Язык мой – хамелеон.

– Вот-вот, – ответила Ириада, улыбаясь на нас.

Но Герман Васильевич не согласился.

– Не дело. Парни рвут работу. Все начинаем, все и закончим.

– Ладно, хорошо. Но не водку же, – возразила Ириада, – пить мальчикам?

Герман кивнул.

– Давай шнапсик.

И она принесла большую железную кружку, полную какого-то напитка вишневого цвета, и еще три стопки. В стопках напиток посветлел, стал рубиновым.

– Во-о-от, – одобрительно произнес Герман.

И мы выпили за начало покоса. Шнапсик пах брусникой или клюквой и был приятен на вкус. Слаб, наверное, градусами, но мы от усталости захмелели. Заулыбались. Почувствовали себя хорошо. И уминали густую, жирную уху. За ухой на стол выплыли жареные ленки и хариусы, потом рыбный пирог, чай с черничным вареньем. И домашнего хлеба – сколько хочешь. Все-таки я погорячился сказать, будто нам все равно было, галеты, мол, так галеты. Хлеб у нас все ж таки национальное кушанье.

Да, было от чего закосеть. Косьба мгновенно взлетела на нашей шкале ценностей.

Но обедали так мы всего лишь еще раз, пока косили вблизи кордона. А как ушли на Дальние Покосы – обеды Ириады прекратились, превратились в праздничные воспоминания.

Дальние покосы тянулись в узкой долинке речушки Куркавки. Нам в названии слышался «рукав». А оказалось, что это ловушка на соболя – куркавка; на лежащую поперек ручья колоду ставят в обруче с камнем силок; перебегая по колоде, соболь попадает в силок и падает в воду. Так что это рукав для соболя. Куркавка была все-таки не ручьем, а речушкой, узкой, извилистой, глубокой, метра полтора глубиной. Когда в первый день косьбы вдоль речки подошло время обеда, Герман Васильевич сказал:

– Ну-ка чё-о? Валерка, Олег, однако, парни, давайте за рыбкой.

Мы уставились на старшего лесника, на его продубелое лицо, искривленное легкой усмешкой.

– В смысле… куда?

– Вон на Куркавку. Берите ведро.

Мы с Валеркой переглянулись.

– А… чем ловить?

Тут косцы заржали. Посыпались шутки. Ведром просто зачерпывать, и все! Но сперва глушить: ведром об воду…

Герман, посмеиваясь, снял кепку и достал из-за отворота моточек лески, крючки. Мы уставились на эту снасть. Ни грузила, ни поплавков.

– Чё непонятного-то? – видя наше замешательство, спросил Толик Д. – На палец намотал и лови.

– Только палец не перепутай, – добавил Толик И. – А то ведь крупная возьмет – и оторвет.

Герман над нами сжалился и объяснил, что надо просто прутик отломить, а на выкошенном клочке набрать кузнечиков – и всё. Мы недоверчиво выслушали, потоптались и пошли.

– А ведро? – спросил Герман.

Мы поступили так, как нам велел старший лесник: наловили в спичечные коробки кузнечиков, срезали прутики, ну, привязали к ним лески с крючками, насадили наживку, бросили в воду и пошли за нею по течению. Кузнечики плыли по темной воде, перебирая лапками… И вдруг из-под нависающего травяного берега метнулась тень, мой кузнечик исчез в воронке, прутик согнулся, я автоматически дернул, и в брызгах воды над Куркавкой взлетел хариус, заплясал в траве… Хариус был хорош, переливался красновато-зелеными радужинами, топорщил яркий спинной плавник. Я набрал в ведро воды и пустил туда хариуса. И уже клюнуло у Валерки. Та же картинка. Фр-р-р! Брызги воды, яркий плавник, пляска в траве… Трясущимися руками я наживлял другого кузнечика, торопясь обогнать Валерку, – обычная лихорадка среднерусского рыбака. Мой кузнечик едва успел коснуться воды, как был тут же проглочен. И еще один хариус угодил в ведро… У Валерки – то же. Поймав по четыре или пять хариусов, мы посмотрели друг на друга. Не снится ли? И не ушла ли удача?.. Нет, полчаса спустя ведро было доверху набито рыбой. Мы едва сумели затормозить. Действительно, куда ее, в рубашку складывать? Остановились, вымыли руки от слизи, вытерли их об штаны и закурили.

– Это, – сказал Валерка потрясенно, – земля обетованная. Реки полные… рыбы.

Ему было видней, бабка наверняка рассказывала.

Рыбу нам пришлось и чистить. А уху варил сам Герман, прямо в этом же ведре. Бросал перец, крапиву, еще что-то. Когда глаза наших хариусов побелели, Герман велел Толикам снимать ведро. Из мешка достал хлеб, ложки, миски. А над костром уже висело другое закопченное ведро – для чая.

Во время чаепития вдруг вспыхнул спор о большевиках, Ленине, революции. Началось с разговора о траве – жидковата, о земле – сурова, но все это было лучше, чем жирная земля на западе, когда там грянула революция и много народу потянулось сюда, хотя и досюда добрались раскулачиватели, срань, голь. Это говорил Герман, посмеиваясь, да, как обычно, – но глаза его при этом зло сверкали. Мы с Валеркой опешили от таких речей. А Толики – ничего, видимо, привыкли. Но мы решили вступиться за большевиков и Ленина. Как же так? Ведь они давали как раз землю и вообще были за справедливость.

– Ну и много у вас земли? – спросил Герман.

Мы растерялись.

– Не у вас, а у ваших родителей? Дачка небось жалкая есть?

– Да, – ответил Валерка.

– Клочок земли, где только и поставишь домик-скворечник и разобьешь две грядки на закуску, – сказал Герман. – И то еще надо извернуться, чтобы в садоводческое товарищество попасть. И ни света, ни отопления не положено. А кругом – пропадают земли, деревни брошены. Знаю я, жил на западе.

Я возразил, что мы горожане все-таки, а не колхозники.

Герман махнул тяжелой рукой.

– Чё, у колхозника огород больше?.. Одна шестая суши под нами, а накормить себя не можем. Чё в овощных магазинах? Гнилая картошка, черная капуста.

Валерка сказал, что это вина бюрократов, они все извратили.

– Хорошее дело так быстро не извратишь, – ответил Герман.

– Как это быстро? – изумился я.

Герман уставился на меня, посмеиваясь, морщинки прорезали его медное лицо, глаза темнели. Он провел рукой по черно-серебряным колечкам потных волос и ничего не ответил.

Мы еще продолжали наскакивать, как два петушка, приводить какие-то аргументы. Но ясно было, что кондового этого мужика не своротить. И вдруг нам стало ясно, зачем это он укрылся здесь, в Сибири.

«Вылитый кулак», – сошлись мы потом с Валеркой.

Косить мы, кажется, более или менее выучились. Но легче от этого косьба не стала. Адов труд! На полянах то и дело попадались камни, куски деревьев, косы тупились, наши с Валеркой вообще под конец выглядели как сабли после штурма Измаила, все в зазубринах и трещинках. Было жарко. Но даже капюшона штормовки снять нельзя: в тайге появился гнус. Комары показались не такими уж чудовищными созданиями. Исчадие преисподней – это, конечно, гнус. Оно одарило наш язык хлестким прилагательным – гнусный. И мы с Валеркой окунулись в самый исток этого словотворчества. И теперь кое-что знаем о гнусных людях.

Возвращались мы поздно вечером, брели сухой тропой среди морщинистых колоссов, слушая посвист рябчиков и цоканье белок, иногда замечая их, белок, смоляно-черных, с белыми грудками, перелетающих с ветки на ветку. Кордон на берегу выглядел идиллически. Море горело сапфиром. Белели пески. Еще бы нам жить там в настоящем светлом доме, а не в кельне полутемной, пропахшей машинным маслом, мышиным пометом и ржавым железом. И чтобы хлеб кто-то пек в печке, стелил постель, взбивал подушки.

Но пока у нас никаких подушек не было, под головами телогрейки. И вместо хлеба мы ели галеты. Поужинав, спать не ложились, болтали, ходили на море, смотрели, как наступает ночь. Засыпали поздно и утром не могли глаз продрать, чертыхались и клялись отбой устраивать засветло. Да, просыпались мы не по фабричному гудку, а как настоящие эскимосы грен-

ландские… Но все-таки, думал я с завистью, эскимосам не надо косить траву, потея в анораках и сатанея от гнуса, лошадей и коров им заменяют собаки и тюлени. А на кордоне корова была и теленок…

И вот, пока мы косили на самой дальней поляне, теленка, пасшегося с коровой вблизи кордона, задрал медведь. Об этом нам сообщил прискакавший на Умном сынишка Германа. Мы побросали косы, не зная, что делать, куда бежать. Герман качал крупной головой в мелких черно-серебряных колечках волос, мокрых от пота, и против обыкновения не усмехался.

– На усадьбу сообщили?

Сынишка крутанул головой.

– Вечером же сеанс!..

На кордоне была радиостанция. На связь с центральной усадьбой выходили два раза, утром и вечером, Ириада числилась радисткой.

Герман кивнул. Забыл. Значит, разволновался, хоть виду и не подает.

– Корова в тайгу сбежала, он ей бок царапнул!

– Защищала…

– Где сейчас?

– Я ее нашел.

– Ладно, сворачиваемся на сегодня. – Герман сплюнул разжеванную травину. – Айда домой.

На кордоне брехали лайки в вольере. Их никогда не выпускали здесь: режим. Герман по осени в отпуск охотился с ними на своем участке в буферной зоне, на приграничной территории. Пошли в хлев, посмотрели на корову. Она тяжело и шумно дышала, как будто только что бежала, таращила на нас глаза, огромные, безумные. По боку шли три кровавые запекшиеся борозды. В глазах Ириады стояли слезы. Но выглядела она решительной Дианой-охотницей в брезентовой куртке, брюках, туго повязанная белым платком, с карабином за плечом. На лице Германа мелькнула невольная ласковая улыбка. Засмотрелся и я на эту статную женщину, годившуюся мне в матери, но… «Интересно, как Герман обуздывает Толиков?» – мелькнула невольная мысль.

Медведи тут были кругом. Мы видели их следы на тропе, на покосах. Заповедник – настоящий медвежий угол. А Герман и охотился на них, на его счету было больше двадцати добытых медведей.

– Однако чё, если повадился… – задумчиво произнес Герман.

Вечером вышли на связь. Из центральной усадьбы тут же полетела депеша в Главохоту. Оба Толика сидели допоздна у нас, пили черные чаи и, естественно, говорили о медведях, о ком же еще. Медведь и Хозяин – два главных героя местного эпоса. И медведь так же загадочен. Толики с ним встречались сами, расходились мирно. Но у других не все проходило столь гладко. От одного охотника, правда, он промышлял не здесь, а на Южном Байкале, в отрогах Хамар-Дабана, остался сапог с ногой, больше ничего не нашли. И случилось это недавно, прошлой зимой. Шатун на него напал. У медведя сила немереная. На втором зимовье по речке Большой он отодрал от нижнего венца полбревна, так, забавы ради. А этот, наш, целого теленка утащил легко, ищи-свищи. Конечно, где-то припрятал. Он любит, чтоб мясцо дошло, припахивать стало. Но не всегда медведь, напав, убивает. Одного мужика из Усть-Баргузина, соседа матери Толика из Днепропетровска, медведица поваляла, всю башку исполосовала и ушла, как будто спохватилась: человек же. Мужик в кровище выбрался на дорогу, первая же машина подобрала его – и в больницу. Все зашили. Только волосы на шрамах перестали расти, а потом он и весь облысел. Но на охоту продолжал ходить. Эвенки считают медведя человеком. Особого вида и рода. И действительно, на ободранного медведя страшно смотреть, так он похож на человека. Весной их иногда на льдине в море уносит. Бригада железнодорожников однажды

такого мореплавателя увидела: прибился к земле, еле выбрел, шатается от голода, шкура клочьями… Ну, они его и забили кувалдами и ломами.

– А ту медведицу…

– А как же! Попробовала человечинки – не остановится. Это как бенгальские людоеды, – вдруг перескочил Толик Д., – в «Вокруг света» писали. Ну, там аут полный: по десять человек сжирали деревенских. Прямо в деревню ходили, как в магазин за хлебом.

– Кто? – не понял Валерка.

– Бенгальские тигры, – ответил Толик Д.

И тут за оконцем нашей кельни, освещенной керосиновой лампой, сверкнуло бенгальским белым огнем. Мы все онемели на мгновение, но уже поняли: над шумящим морем покатился гром. Только что море тихо плескалось и вот разом зашумело. Заскрипели лиственницы, что-то захлопало на крыше, как будто птица-мутант опустилась. И снова резанули саблезубые огни тьму. Приближалась гроза. Но дождя еще не было. Он начался минут через двадцать, Толик Д. еще успел рассказать одну историю про медведей.

Наши гости ушли до дождя. Ушли, и ударил дождь. Замолотил по крыше, в оконце. Молнии заплясали над кордоном.

– Я на месте Германа Толиков здесь не оставлял бы, когда полевые работы в тайге или в поселок надо, – сказал я.

– Отдавал бы жену на съедение?

– С медведем она и сама справится.

– Ну и с Толиками тем более, – сказал Валерка.

Мы полежали молча. Я начал задремывать. Уже была глубокая ночь.

– Я об этом тоже подумал, – признался Валерка.

Море набрасывалось на берег, доски под нашими головами сотрясались. У меня уже не было сил отвечать. Сколько можно рассказов, дыма, чая…

Глава пятая

Главохота дала добро на отстрел зарвавшегося медведя, и на следующий день на кордон приплыли охотовед, лесничий (тот, патлатый) и еще два мужика, с ружьями. Вечером они уже знали, где припрятана добыча медведя. Теперь оставалось ждать. И они устроили засаду. Ну а мы снова потащились на покосы. Как арестанты: Герман нес на плече карабин. Валерка с завистью на него поглядывал. Хотя еще больше он завидовал тем, сидевшим в засаде. Он просился с ними, но его не взяли. И вот – снова в руках осточертевшая литовка, а не винтовка. «Какой-то рабский труд», – ворчал Валерка, размазывая мошкару с потом по щеке. Да, молчаливо соглашался я и думал о Гренландии, прохладной, чистой, древней, без коров и лошадей. Где-то там пролегала дорога в никуда. Все-таки собираясь сюда, мы надеялись… На что мы надеялись? На какую-то другую жизнь. Вольную, дикую, полную приключений. А нам, кроме литовок, ничего здесь не доверяют. Даже в питье ущемляют.

Мы ворошили подсохшее сено, складывали его в копны, докашивали последнюю поляну и прислушивались. Но в августовском теплом воздухе только птицы пели и цокали бурундуки. Однажды мы услышали крики журавлей. Толик И. сказал, что это на Верхних озерах. «Там зимовье стоит, прямо из окна можно смотреть. Уже рядом гольцы. Высота. Зеленые склоны, осыпи».

И мы думали, что никогда туда не доберемся. Так и будем рабсилой, рабочими лесного отдела, то есть – всегда на подхвате. А настоящую жизнь ведут охотники. Мы слышали рассказы о приморских горах, где нет никаких заповедников и ничего вообще нет, кроме тайги, гор и зверья. Там рай для охотников. Удивительно, но когда об этом говорил сам Герман Васильевич, по его крупному загорелому лицу блуждала не обычная усмешка, а какая-то затаенная улыбка. «Там только соль нужна, ну еще куль муки, а главное – порох, свинец». А ведь он был тертый калач и всем тут распоряжался. Но что-то и его не устраивало, что-то и его манило – дальше. И, возвращаясь на кордон, мы с тоской смотрели на таинственные кручи противоположного западного берега, то растворяющегося в синеве, то вдруг проступающего с невероятной отчетливостью всеми своими складками. И уже раздумывали, как бы нам туда попасть. На тот берег… Ученые мужи говорят о вечных сюжетах, встроенных в наше сознание. И, кажется, мы нашли один из таких сюжетов – миф о том береге. Мы его прямо увидели на кордоне, увидели его отсветы на лицах лесников и сами попали в его силовое поле.

Утром, днем, вечером и ночью я созерцал тот берег. Выходил отлить и видел темные глыбы под звездами. Чистил зубы и, сплевывая, замечал белое облачко, висящее ниже синих вершин того берега. Вечером следил, как хребты меняют цвет в сиянии заходящего солнца: от розового, кипрейного до сиреневого, фиолетового. И вот какую особенность обнаружил: тот берег иногда мне казался не западным, а восточным. Если еще было рано, то солнце я ожидал увидеть восходящим из-за моря. И когда оно вставало все-таки позади кордона, из-за тайги и крутых высоких гор Баргузинского хребта, небо моего сознания кружилось, как сфера планетария. Так было, когда мы с Германом Васильевичем вытаскивали сети. Мне казалось, что утреннее солнце тонет в облаках над Приморским хребтом, а оно вдруг пробилось в небе напротив, над Баргузинским хребтом. И лучи его были в несколько раз короче вечерних, льющихся из-за моря. Баргузинские горы выше приморских, они стоят неровной стеной на востоке, укорачивая лучи. Восточное солнце было меньше и беднее западного, что противоречит еще одной извечной скрижали – мифу о сильном, восстающем из смертной мглы солнце. И эта скрижаль постоянно скрещивалась в моем сознании с мечом действительности. Сыпались искры. Мне иногда мерещилось, что я останавливаю солнце, встающее на востоке, и перекатываю его по куполу небес на запад.

Но факт остается фактом: тот берег был западным, а не восточным.

А казался – восточным.

Голова кругом…

Медведя застрелили на вторую ночь; мы ничего так и не услышали, и не видели ни его туши, ни шкуры; с ним управились сами охотники, с помощью, конечно, коняги Умного. Днем медведя вывозили, грузили на лодку, а мы в это время навивали первый стог. С косьбой было кончено, как с медведем. Но еще надо было все сено просушить и убрать. И мы убирались, орудовали граблями и вилами.

В один из дней пошел дождь. Потом еще два или три раза случался ливень с грозой. Но все-таки пересушило нам солнце, встающее, как и положено, на востоке, травы, и на скошенных полянах выстроились высокие папахи стогов. Баста.

На кордоне нас ждала протопленная Ириадой баня. Ее не так давно выстроили на самом берегу, и внутри все бревна сверкали красноватой смолой. Смолистый горячий дух был так густ, что горчил на губах и хмелил. «Ну-ка, чё-о, паря? Поддай!» – приказывал Герман с багровым лицом. И Толик Д. плескал на раскаленные камни. Волна обжигающего воздуха накидывалась на нас огненным ангелом или демоном, мы отворачивались, прикрывали глаза. А Герман хлестал себя по крутым волосатым плечам веником, рычал от удовольствия. Мы отстранялись от его веника, гнавшего самый огонь, как крылья какого-то солярного махаона. Толик Д. тоже бил себя веником. А мы трое остерегались. И так пронимало до костей и перехватывало дыхание, соленые ручьи бежали по нашим спинам, животам, щипали глаза, разъеденные гнусом места, саднили. «А теперь – в море!» – скомандовал Герман, и мы один за другим вышли из бани. По камням к воде вели мостки. И Толик Д. первым сорвался и побежал, с воплем плюхнулся в волны. Байкал слегка волновался, был синевато-серым, угрюмым. За Толиком последовали остальные. Волна окатила напитанное жаром тело резкой прохладой, я мгновенно запьянел. И на берег, поддаваемый волной, еле выбрался, так меня качал этот хмель. И уже такого вина я никогда больше не попробую. Подобный перепад температур можно выдержать только в семнадцать лет. Или надо полжизни тренироваться, как Герман. Ну и много еще чего надо…

После бани мы с Валеркой пили брусничную, остальные – белую. Это была последняя совместная трапеза. Больше мы никогда не пробовали Ириадиных булок. Сидели на галетах до самого отплытия. Правда, уже рыба была у нас всегда. Увидев, как легко ловить хариуса в Куркавке, мы по вечерам брали авоську и шли по тропе через кедровник на речку, как в магазин. Однажды наловили столько, что не смогли сразу осилить и решили оставшуюся рыбу засолить; все сделали как надо, три дня выдерживали в растворе под камнем, потом на берегу развесили между двумя кольями и сверху прикрыли даже марлей, одолженной нам Ириадой, от мух. Ждали, когда высохнет, не терпелось попробовать таранки, завяленной на ветру и солнце Байкала. Ждали, ходили вокруг да около… и почувствовали: как-то попахивает. Заглянули под марлю – а в глазах рыбы шевелятся черви… Как будто кадр из сна. Видимо, пожалели соли, хотя соль была. Всю рыбу мы закопали и решили еще раз попытаться. Смекнули, что рыба нам впрок нужна. Мы собирались на тот берег. А Герман Васильевич брался перевезти нас на моторке через море. Мы должны были только оплатить бензин туда и обратно. Но ружьецо он нам отказался продать. Поискать на центральной усадьбе посоветовал. Охотничьих билетов у нас не было. Еще нам необходимы были бродни. Телогрейки можно было взять и старые, в мастерской. Спальники у нас были. На том берегу мы думали построить хижину. Но путались в расчетах. Денег, денег не хватало! Катастрофически. А значит, и времени. Говорили, что осенью начнутся туманы и шторма. Некоторые призывники из-за этого в армию не попадали. Не только по морю, но и по воздуху никуда не доберешься, вертолеты и самолеты прекращали свои рейсы. Мы не знали, как успеть собрать все необходимое до осенних штормов. И тем не менее готовились. Такова ослепляющая сила этого извечного сюжета. Тот берег. На тот берег. На том берегу. Звучали в сознании тамтамы. И не заметили, как впали в этот транс.

Вторую партию рыбы мы щедро засыпали солью. Ни одна муха не посмела приблизиться к ней. Правда, и есть ее было невозможно: все во рту горело и саднило, чистая соль, ни вкуса, ни запаха рыбьего.

– Ничего, с голодухи пойдет, – решил Валерка.

И мы припрятали рыбу. Но это так, на всякий случай. Мы-то знали, что будем кататься сырами в масле на том берегу, вялить мясо изюбра, есть оленьи языки, варить суп из глухарей и рябчиков, собирать всяку-разну ягоду (тоже одна из языковых особенностей Подлеморья – сглатывание окончаний). Конечно, кто-то мог нас спросить: а почему бы вам ее здесь уже не собирать, ягоду? Черники было полно в двух шагах от кордона. Ну, мы ее ели при случае, идя за хариусом на Куркавку. А собирать… да, не до этого пока. Есть дела поважнее. Изучать тайгу, ковать ножи…

Валерка привез с собой из Смоленска кусок рессоры, один знакомый дал ему, сказав, что из такого металла получаются самые лучшие ножи на свете, – что тебе дамасский клинок. Тащить кусок рессоры за тридевять земель, чтоб его выбросить там? Я не понимал Валерку. А он был упорен. И вот решил: пора. Раскочегарил печку, надел телогрейку, рваные зимние рукавицы, примотал к ручкам плоскогубцев две палки и сунул в самое пеклище рессору. И когда она раскалилась докрасна, а потом добела, вынул ее плоскогубцами на палках-ручках, донес до наковальни и крикнул: «Бей!» Я обрушил на огневеющее железо кувалду. Еще несколько раз ударил и увидел, что металл-то размягчился, начал плющиться…

Ну и что? Я все-таки не верил в эту затею. Ладно, расплющить можно, что угодно, ломать не строить. Но Валерка не унывал. Мы поменялись ролями. Теперь я вынимал металл из печки, а Валерка бил. Палки тлели и вспыхнули, пришлось искать железные держатели, одну трубку и железный прут. На стук заглянул сначала один Толик, потом и второй. Они тоже вынесли нам вотум недоверия, посмеивались, как Герман. А Валерка гнул свою линию, припечатывал жаркую пластину кувалдой. Когда она достаточно утончилась, Толик Д. посоветовал взять молоток. И в конце концов сам взял его.

– Дай-ка мне…

И начал стучать. В мастерской стояла жарища. На искры, летевшие из трубы, обратил внимание старший лесник, прислал сына узнать, что тут у нас за паровозные дела. Потом пришел сам, подсмеиваясь. Посмотрел и удивленно протянул:

– А чё, вытягиватца ножик-то.

Да, на наших глазах безобразный кус металла приобретал форму. Зрелище, достойное кисти настоящего художника, певца каких-то новых рун.

Валерка выковал нож. Обточил его, убрал лишнее, навел лоск. И, глядя на это блестящее хищное полотно, нельзя было поверить, что вышло оно из обычной печки, вот как лук или корова кузнеца Ильмаринена. Приблизив его к лицу, можно было увидеть отражение своих глаз. Рукоять Валерка вырезал из березы, временную. Позже нож должна была украсить рукоять из рога. Ну, маральего или лосиного, кого мы первого добудем – там, на синих горах того берега. Валерка выглядел пафосно. Да любой бы на его месте так выглядел. И с ножом он уже не расставался, сшил из голенища от кирзового сапога ножны и носил нож на поясе.

Старший лесник разрешил нам по вечерам ездить на Умном, показал, как его седлать, взнуздывать. Валерка разок прокатился и охладел. Еще бы, первый выезд едва не превратил его в инвалида. Умный на выходе из загона взял слишком близко к правому столбу, и поперечная жердина, довольно толстая, концом уперлась в стопу. Валерка натянул поводья, крикнул, но Умный вместо того, чтобы остановиться, рванул вперед, нога в стремени загнулась назад, до упора, на длину стремени, жердина тоже выгнулась чудовищным луком, и в следующее мгновение либо стопа должна была отлететь, либо Умный остановиться. Не произошло ни того ни другого: жердь с оглушительным треском лопнула, Умный понесся дальше неуправляемый, Валерка упал ему на шею, вцепился в гриву, зажмурившись от дикой боли. Потом ему уда-

лось осадить коня и сползти на землю, разуться и узреть лиловый кровоподтек. «Скотина!» – орал Валерка и размахивал кулаком. Умный лишь косился. В рыбацком колхозе он и не такого наслушался.

Дня три Валерка хромал после этого, а мы с Умным поладили, и по вечерам я выезжал в тайгу. Самой дальней точкой моих выездов было Литоминское зимовье. Там я впервые и увидел, что же это такое, зимовье. Ну, небольшой простой домик из ошкуренных бревен, с потолком из плах, крытый корьем; никаких сеней, внутри вдоль двух стен нары, одно оконце, стол перед ним, полки, в углу железная печка, обложенная камнем, всё.

Я привязывал Умного к березе, растапливал печку, спускался к быстрой шумящей широкой реке, набирал воды, ставил котелок на огонь, садился у окна, глядел на речку, камни, кедры и светлоствольные пихты; заваривал чай, пил с сахаром и галетами, закуривал… о чем-то мечтал. Одиночество юности какое-то скудное, в нем тоска, почти скука. Маета. Томление неизвестно о чем. Вопросы: да зачем мы сюда забрались? что мы здесь делаем?..

Повесив кружку на гвоздь, убрав сахар, заварку в мешочек, смахнув крошки со стола, я выходил, отвязывал Умного, садился в седло и пускал его вскачь, прочь от тщеты одиночества, от неуверенности, и, завидев крыши кордона, шеренгу лиственниц, море, расстилающееся за ними, нашу кельню, облегченно вздыхал.

Но на следующий день снова седлал Умного. Время казалось замершим. Эпицентр его был где-то не здесь, в другом месте. Сидя на склоне горы, я всматривался в синеву над морем, следил за парящим полетом орланов-белохвостов.

И тем не менее время текло там, на кордоне, под лиственницами Подлеморья.

Мы помогали строить дом, нам уже доверили оструживать полы, и мы ползали на коленках с рубанками, с головы до ног осыпанные стружками, конечно, не переставая обсуждать детали переправы на тот берег и предстоящей робинзонады. Кое-что из столярного инструмента стоило прихватить, думали мы. Одолжить. Потом, когда разбогатеем, вернем сторицей, как говорят умудренные люди. Сторицей. Хорошее слово. С каким-то религиозным привкусом. В это надо верить: что наступят времена, и ты всем вернешь долги, всех порадуешь.

Да, на инструменты у нас денег не было, ведь необходимо было купить много чего, муки прежде всего, ружье и т. д. Мы составили список. И каждый вечер рассматривали его, думая, что еще добавить или, наоборот, выкинуть. Продолжали ходить на Куркавку, солили рыбу. Вот насолим два мешка рыбы и купим два мешка муки – этого нам надолго хватит.

Однажды возвращались с рыбалки по красному от солнца кедровнику и заметили глухаря. Он расхаживал важно по белым подушкам мха, как павлин, крупный, бровастый. Валерка посмотрел на меня и спросил, не надоела мне рыба? Ну, не знаю, ответил я, мы же собираемся два мешка насушить? Правда, у нас будет ружье… Слушай, перебил он, а если не будет? Ведь как-то эвенки тут жили без ружей?

И он вынул свой нож и начал привязывать его ремнем к палке, моему посоху. Я его понял и подобрал камень. Мы как-то напрочь забыли, что находимся на заповедной земле. Как будто уже отлетели на тот берег.

Прячась за красными светящимися стволами кедров, мы подкрадывались к глухарю. А он не улетал, похаживал, как падишах, да, было в нем что-то такое, мне халиф-аист вспомнился… Заманивал нас как будто, но в это время послышался топот. Точно! По тропе кто-то приближался. Валерка отбросил свое копье, я уронил камень. Сделали вид, что отошли помочиться. А на тропе появился всадник. Кто-то из лесников? Сам Герман? Его сын? Но у всадника были черные густые волосы, светлое лицо, темные брови, карие глаза. Верхом на Умном скакала девушка. Мы быстро отняли руки от ширинок и уставились на нее. Она взглянула на нас и промчалась дальше. Мы смотрели ей вослед. И тут захлопал крылами новый халиф. Мы оглянулись. Глухарь летел среди кедров тяжело, словно ящер, как-то неуклюже взмахивая крыльями.

Но нас он уже не интересовал. Мы были озадачены. И уже очарованы. Девушка была необыкновенно хороша, да просто красива. И увидеть ее – где? Здесь? На этой тропе? Мы подавленно смотрели на кедры, на свежую рыбу, друг на друга.

– Ладно, чего ты? – спросил Валерка. – Как будто инспектора увидел.

– Из Главохоты?

Мы рассмеялись с фальшивой беспечностью.

На кордон мы возвращались поспешнее, чем обычно. Вообще испытывали противоречивые чувства. Нам хотелось снова увидеть всадницу, и поэтому следовало не торопиться, но не терпелось узнать, кто это? Может, на кордон прибыла какая-то киносъемочная группа? По рассказам мы знали, что сюда время от времени наезжают киношники, даже зарубежные. Так что наше предположение не было столь фантастическим.

На кордоне нам никто не попался, лесников не было видно. Ни лесников, ни актеров. Мы прошли к своей кельне и сразу увидели на берегу чью-то чужую моторку.

Высыпав рыбу в ведро, покурив, Валерка достал бритвенные принадлежности, кусок зеркала, мыло.

– Куда ты?

Он ответил, что пора побриться, и, скребя ногтями подбородок, пошел на море; я видел в окно, как он уселся на корточки у воды, пристроил кусок зеркала на валуне и принялся намыливать щеки. А мы-то решили отпустить бороды и уже не брились несколько дней, покрывались свинской какой-то щетиной, кабаньей, ржавой. «Ну, вы уже как полярники!» – смеялся Толик Д. «Правильно, впереди у них зимовка на том берегу, теплее будет», – одобрил Толик И. Герман, глядя на нас, посмеивался. Его супруга Ириада слегка морщилась и улыбалась. Да, наши рожи были страшны. А что делать?! У настоящих таежников должны быть бороды. Это здесь, в заповеднике, все еще слишком цивильно и бородатых лиц раз-два и обчелся. А там, на том берегу, все по-другому. Ведь нам предстояло встречаться не только со зверями лицом к… лицу, но и с такими же вольными таежниками. Тот берег для всех открыт.

И вот один из нас сдался. Это было похоже на предательство. Что ж, я отплатил тем же: дождался, когда друг вернется, взял все то же – у нас станок и помазок были общие, купленные в первый день еще в Иркутске, бриться мы уже начали, просто забыли все в Смоленске, – взял и пошел; пристроил кусок зеркала, окунул помазок в прибойную волну… В это время на берегу появился новый персонаж, какой-то мужик круглолицый, раскосый, рыжеватый, плечистый, с брюшком, кривоногий. Улыбнулся мне.

– Здорова!

– Здравствуйте, – ответил я.

За ним шел и Герман. Увидел меня с намыленными щеками, кивнул, посмеиваясь.

– Чё-о, а? Уже раздумали?

Я не ответил. А раскосый у него спросил, чё, мол, ага?

– Полярники, – ответил Герман, и тот рассмеялся, хотя явно ничего не понял.

А может, знал про нас? Но Герман?.. Значит, он шутил, соглашаясь переправить нас на тот берег? Или как?..

Герман помог стащить моторку в воду, развернуть ее носом навстречу волнам; раскосый сел, Герман с силой толкнул, и лодка, плюхая носом, закачалась, поплыла; раскосый опустил хвост мотора, дернул за шнур, и тот заревел. Герман поднял обе руки в прощальном благодарственном жесте. Раскосый что-то крикнул в ответ, и лодка пошла рассекать волны. Я побыстрее добрился, ополоснул лицо и пошел в мастерскую, испытывая злость и… радость; да, затаенную радость. Ну, понятно отчего. Раз этот рыжеватый мужик, явно наполовину эвенк, уплыл, значит… значит, та, которую он привез, осталась. Но, войдя в кельню, я постарался выглядеть только раздосадованным.

– Валер! По-моему, над нами издеваются!..

Он взглянул на меня. Его лицо было непривычно светлым. Значит, и мое, подумал я.

– Кто?

Я подумал и ответил:

– Все.

Валерка сказал, что смеется тот, кто смеется последним, еще посмотрим, еще они будут удивляться и завидовать, когда по льду мы приедем сюда на санях в унтах и дохах. Я попросил уточнить, кем будут запряжены сани (неужели и на том берегу придется упражняться с литовкой, а не винтовкой?). Оленями, успокоил меня Валерка. А, ну это другое дело, подумал я. Но поделился опасениями насчет Германа. Вдруг он нас предаст, как предали пираты Спартака? Валерка задумался. Ну, найдем еще кого-нибудь, вот хотя бы этого полуэвенка зафрахтуем.

Мы разговаривали, курили, готовили ужин, все вроде было как прежде… Но что-то такое изменилось в Валерке. Он говорил напряженно. И слушал меня вполуха. Да, все его внимание было направлено на что-то другое. Я это сразу уловил. Вот так-то. Стоило появиться здесь какой-то незнакомке, как… что? Ну, в общем, еще ничего такого. Но первые признаки дезертирства налицо. На лице.

Да и на моем.

– О, хлопцы никак на танцы собрались?! – воскликнул Толик Д., увидев нас.

– Да-а… надоело, чешется, – небрежно ответил Валерка.

– М-м. – Толик понимающе кивал.

Мы сразу обратили внимание, что и он принарядился, надел чистую новую тельняшку взамен драной и такой грязной, что все полосы на ней сгладились.

– У тебя, оказывается, две тельняшки? – спросил Валерка. Он мечтал о такой же. И я бы не отказался.

– Да, а чё?

– Буржуин.

– Не задарю, не просите, – отрезал Толик.

Вскоре показался и второй Толик с тщательно расчесанными белокурыми волосами, в лесниковском пиджаке с дубовыми листьями на рукавах и на лычках. Мы переглянулись и засмеялись.

– Чё-о ржете? – с неудовольствием спросил Толик И.

– Ты на выезд собрался?

– Нет еще. Но скоро поеду. В Иркутск.

– Зачем?

– За аккордеоном.

– Ты умеешь играть?

– Маленько.

– А я думал, за новыми тетрадями, – сказал Толик Д.

Наступила пауза. Мы все думали об одном, я уверен. Впрочем, я еще подумал и о тетрадях и хотел уже спросить, что же он в них пишет, но вместо этого спросил о том раскосом рыжем мужике, не эвенк ли он? Толик Д. ответил, что татарин. Усманов.

– А зачем он приплывал? – спросил Валерка.

Толики уставились на него.

– Мы на Куркавке рыбачили, – объяснил Валерка.

И Толик Д. ответил, что он привез дочку Германа, студентку Галину.

Наступила еще более продолжительная и напряженная пауза. Информация, полученная нами, была избыточна даже. Мы внезапно узнали всё. Студентка. Галина. Дочь.

– А завтра примчится Сыров, – сказал Толик И. с непонятным вздохом.

– Если не ночью, – добавил Толик Д. мрачно.

Мы узнали еще: Сыров – охотовед, многодетный папаша, он всегда сюда прилетает, как только Галя на побывку приезжает.

Это уже было слишком. Более чем избыточно. И как-то неправдоподобно. Да, спрашивается, если все так безнадежно, зачем же лесники вырядились? Нет, я отказывался верить новому сообщению. Думаю, Валерка тоже. Какие-то сплетни…

Море волновалось сильнее, вода уже была свинцового цвета, а вдали вообще черного. Приморский хребет переваливали тучи. Грохотало о берег всю ночь. Утром – та же картина. С волн срывались белопенные гребни. В такую погоду уютно на этом берегу, он становится поистине дальним, отрезанным от всего мира. Хорошо. Может, там, в большом мире, уже неизвестно, что происходит, новая революция, мертвый Ленин на броневике, а у нас – ничего, шумят лиственницы, гремит прибой, на песке желтоватая пена. Нет, мы снова убеждались, что оказались в одном из укромных мест этой земли. И жаль, нет художника на эти краски, хитросплетения из ветвей, лучей, линий гор, песка и волн.

…Мы работали на стройке и все поглядывали в пустые окна на дом и двор Германа. Но видели там кур, Ириаду или Борьку. Мне уже начинало казаться, что вчерашняя всадница – плод романтического настроения… Но Валерка тоже приободрился, утром полез в море купаться, несмотря на ветер, волны, вымыл с мылом свои свалявшиеся кудри. В мыле-то нет ничего романтического, а? А вообще романтизм совсем не то, что о нем говорят. Теории развивают, подбирают определения. Но романтизм – это просто влюбленность. Влюбленность в мир, как в женщину. Далее: реализм – страсть остывает. Модернизм – причуды вместо любви. Постмодернизм – уже некрофилия.

Я раздумывал, не оседлать ли Умного вечером? Но погода была все такая же ненастная, того и гляди посыплется дождь; тайга гудела. И мы коротали вечер в нашей кельне, курили, я пытался найти музыку, Валерка все правил свой нож, хотя тот уже и остр был. Дочь Германа мы сегодня так и не видели. И не говорили о ней. Но думали, каждый думал, воображал встречу один на один в тайге, на покосах или у Литоминского зимовья. И вдруг нашего слуха коснулся какой-то посторонний шум. Да, в шуме ветра, шипении и биении волн послышались какие-то прерывистые звуки… Мы быстро переглянулись.

– Моторка?.. – озадаченно проговорил Валерка.

– Не может быть.

Мы вышли на улицу. Оглядели колышущееся, свинцово-взбеленное море, озаренное каким-то странным светом, неизвестно откуда идущим, – и Валерка первый заметил, вытянул руку: «Вон!» Тут и я увидел пляшущую на волне щепку. Она двигалась. Иногда исчезала вовсе. Но снова возникала и неуклонно приближалась к нашему берегу.

Это была моторка. У берега сидевший в ней человек в темном блестящем плаще заглушил мотор и резко дернул его на себя, задирая хвост с винтом, чтобы не поломать его о камни, – волны и инерция гнали лодку на берег; мы поспешили навстречу, человек уже спрыгнул в воду, я схватился за скобу на носу, Валерка тоже, вдвоем мы потащили лодку на песок… Да, мы сами помогли этому человеку причалить к нашему берегу. Он оскалил белые зубы в улыбке, сверкнул синими глазами.

– Спасибо, ребята!.. Как у вас тут дела?

С его плаща стекала вода, на русых волнистых волосах дрожали капли. Он был высок, бодр. Голос звучал чуть надтреснуто. Ясно было, кто это. И Валерке ясно. Мы без особого энтузиазма отвечали, что все хорошо.

Да, лучше некуда.

Глава шестая

В царстве пресвитера Иоанна (о котором грезили средневековые путешественники) было дерево Сиф. Попавших к нему путешественников Иоанн предостерегал обходить дерево «с другой стороны». Но один из них был уже стар и решил обойти именно «с другой стороны». Путники замерли. А он в восхищении позвал их за собой, но те предпочли уйти побыстрее прочь. Они вернулись на родину. А старик там, за деревом Сиф, исчез навсегда.

Что же это значит – с другой стороны? Вдруг выйдешь к дереву Сиф? Как его узнаешь…

А кто такой этот Сиф, думал я, лежа воскресным туманным утром на склоне горы. Рядом смирно дышал Умный, привязанный к тонкому кедру. Это что-то библейское, подозревал я. А где вычитал про Сиф, не помнил. В каком-нибудь альманахе про путешественников. Много их читано. По валуну рядом со мной ползали муравьи, как солдаты по голове поверженного монстра. Голова была покрыта лишайниками. Может быть, Сиф был каким-нибудь великаном…

В небе появился буроватый орлан с белым хвостом, он мощно плыл на своих парусах, зорко рассматривая всё. Увидел нас с Умным, меня в анораке, коня под рыжим седлом, качнул крыльями и взял вправо, к морю, я следил за ним лежа. Орлан уходил в туманную синь. Он легко мог достичь того берега. И я подумал, что и дерево Сиф связано с ним. Не с орланом, а с тем берегом. На том берегу оно, наверное, и растет.

Я встал, взял коня под уздцы, направился вниз, осыпая камешки, на тропе вскочил в седло, поехал. Тропа вилась среди стволов по кромке берега. Заглянуть на ту сторону дерева, повторял я про себя, как будто боялся забыть. Как будто нашел какой-то выход, некую формулу. В ней сходилось всё: и тот берег, и смутные надежды, какие-то сны. Мне казалось, что именно это я искал все время.

Что?..

Когда я подъезжал к кордону, то уже не мог понять, чему так радовался. Какая формула? Заглянуть на ту сторону дерева?.. Хм, что за галиматья. О чем это?

…Осень уже в последних числах августа давала о себе знать, желтила один-два листка на березе, прихватывала хвоинки, заносила серебристой пылью крупные ягоды голубики и сквозила в воздухе, необычайно чистом, прохладном. В небо было больно смотреть. Такой насыщенной бирюзы больше нигде не увидишь. А гольцы на востоке уже бестрепетно белели. Умываться в море с каждым утром было все холодней. Исчезли комары, проклятая мошкара пропала.

И наступило первое сентября. Утро солнечное, зеленое и синее, с огневеющими кустами шиповника на берегу, у полоски песка и камней.

– Мы не проспали торжественную линейку? – спросил Валерка.

Да, впервые за всю сознательную жизнь мы не спешили в школу, перед которой пестреет цветами, бантами и рубашками толпа учеников и родителей., Именно в этот день мы ощутили себя взрослыми и свободными. Ну, почти свободными. Все-таки настоящая свобода мерещилась где-то… не здесь…

В честь этого дня Валерка принял стахановское соцобязательство: испечь сто блинов. И вечером я раскочегарил печь, Валерка засучил рукава, заболтал муку, и на раскаленную черную сковородку упала первая порция теста, запузырилась, затрещала. Конечно, вскоре пришел Толик Д. Пришел бы и Толик И., но он уехал в Иркутск за аккордеоном. С этим же рейсом теплохода отбыла и дочка Германа, никому из нас не удалось даже поздороваться с ней. Мы еще видели ее издалека несколько раз, слышали, как она смеялась с братом и о чем-то говорила с охотоведом, приплывавшим сюда через день. И позже, читая восточных авторов, истории любви батрака и хозяйской дочки, я хорошо представлял все трудности этой любви. Дочка хозяина кордона была для нас абсолютно недоступна. И нам оставалось только смириться.

Смирились мы и с тем, что в этом году не попадем на тот берег. Сапоги с высокими голенищами мы купили, но о покупке ружья не могло быть и речи, дорого. Да и не находился продавец. Нужно было почаще бывать на центральной усадьбе. Лучше всего там готовиться к броску через море.

И поэтому мы обрадовались даже, когда узнали о переводе в поселок. Хотя это было приближение к ненавистной цивилизации. Но можно было и отступить по-кутузовски, чтобы потом верней взять лавровый венок победы.

Перед отправкой в поселок мы еще успели осуществить одну авантюру, давно замышляемую. В субботу вечером ушли на Литоминское зимовье, испросив разрешение у Германа, с топорами и двуручной пилой, а также несколькими ржавыми скобами, найденными в ящике с железным хламом. Утром натаскали сухих бревен и сколотили плот. Сплавляться решили в следующее воскресенье. Но не утерпели, надо же было проверить, как плот держится на воде; спихнули его в речку, сами заскочили. Сооружение наше оказалось вполне плавучим. Не «Кон-Тики», не «Семь сестричек», но все-таки. Мы проплыли метров тридцать и подумали, что пора зачалиться. Не тут-то было. Течение влекло нас дальше. Я спрыгнул в воду, Валерка тоже, здесь была отмель. Мы попытались удержать плот, но его мощно тащило дальше, он был слишком тяжел, а течение – быстро. И я снова вспрыгнул на бревна. Валерка побежал берегом. Я работал шестом, но уже понял, что плот неуправляем.

– Стой! – заорал Валерка, ломясь, как лось, сквозь заросли и треща валежником.

Как будто это было возможно, остановиться. Я увидел приближающийся пень, он нависал над потоком, и, бросив шест, схватился за него, силясь изо всех сил задержать плот, но его развернуло и – выдернуло из-под моих ног, как помост из-под ног флибустьера, приговоренного королевским судом к повешению, и я ухнулся в ледяную воду по плечи, задохнулся от холода. Выбираясь на берег, успел увидеть убегающего Валерку и уплывающий плот. Больше я его не видел. Плот. Так и оставшийся безымянным. А Валерка пришел, чертыхаясь и потирая ушибы. И мы побрели через завалы назад, к зимовью. Ничего, рассуждал Валерка с ожесточением, сделаем другой плот, более легкий, а значит, управляемый!.. Я стучал зубами и соглашался.

Но во вторник мы погрузили свои батрацкие шмотки в лодку, и Герман повез нас на центральную усадьбу. Я уже издали смотрел на берег, кельню, костерки голубики, камни, песок и думал: все, абзац, завершилось.

И осенние лиственницы над песком в синеве золотились прощальным росчерком.

Глава седьмая

«Я это или не я? Я… или не… я?.. – вопрошал тот, кто взбирался по грубо сколоченной, шаткой, скрипучей лестнице между толстых бревен, сбитых скобами и образующих некую лесную кедровую башню. – Я… или…»

И мне до сих пор не верится, что это был я.

Гора и пожарная вышка на ней часто становились объектами съемки, а еще чаще – виды, открывающиеся сверху. И тот, кто карабкался по многосоставной, довольно длинной и опасной лестнице, уже краем глаза захватывал странно знакомые пейзажи. И, видимо, это действовало на него оглушающе. Ну, всем известен психологический эффект дважды виденного.

Говорят, с некоторыми путешественниками случаются обмороки в Риме, когда они созерцают фрески Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи, о которых столько слышали, читали и которые не раз видели на фотографиях. Наверное, тот же эффект. Конечно, фотографии Байкала из альбомов, неплохо изданных в ГДР, фотографии каких-то неизвестных мастеров… ну, в общем, что говорить, понятно. Никто и не сравнивает. А вот оригиналы – оригиналы я сравнил бы… если бы побывал в Риме. Мне кажется, что гора с лесопожарной вышкой, вознесшаяся над морем, тайгой, и фрески, которыми расписано всё внутри этого невиданного собора, несравненно величественнее собора Святого Петра, Сикстинской капеллы и всех творений художников Рима прошлого, настоящего и будущего. Им никогда не напитать свои полотна и фрески такой голубизной, зеленью, не тронуть вершины тайги, сбегающей к морю и сверху напоминающей курчавые поляны, такой мягкой, воздушной желтизной и не убрать каменные торсы столь ослепительно-белыми одеждами.

И я стоял на почерневших неровных досках под корявой двускатной крышей, смотрел хищно, охмеленно на тайгу, небольшой залив, и на все море, синее, пустынное, и на близкие гольцы, в упор освещенные вечерним солнцем, различая глубокие черные трещины, осыпи, складки, серые лбы. Смотрел и как будто отсутствовал. Весь превратился в зрение.

Тайга в лучах солнца выглядела почти летней. Снегом были выбелены только гольцы. А здесь, внизу, цокали белки в вечнозеленых кронах и пересвистывались птицы.

…Порывы ветра заставили меня покинуть этот пост созерцания и спуститься с вышки, с вершины – в бревенчатый темный домик, зимовье.

Быстро вечерело.

Я набрал охапку дров в поленнице, прикрытой корьем, внес их в зимовье, нащепал лучины, сложил ее в железной печке, поджег. Скоро огонь гудел в трубе, шипел закопченный чайник. С собой я почти ничего не взял, только немного заварки, сахар и ком теста. Тесто замешал Валерка для воскресных лепешек – и уделил часть мне. На вышку он почему-то не захотел идти, может быть, в клубе показывали новый фильм. Да, в поселке культурная жизнь кипела, привозили кино с каждым рейсом «кукурузника»; а если нового фильма не было, стулья сдвигались в сторону и на середину вытаскивался теннисный стол; в этом же доме, за стенкой, находилась библиотека, по-моему, весьма неплохая: там были фолианты всемирной истории, хорошо иллюстрированные, много поэтических сборников, собрания сочинений Лондона, Пришвина, Льва Толстого и кипы журналов «Природа», «Наука и жизнь», «Вокруг света». Я взял там Еврипида. Почему Еврипида, не знаю, рука как-то сама потянула за корешок. Но на вышку его не потащил, конечно. Пришел налегке. Даже не прихватил спальник. А это уже из стратегических соображений. Мне не хотелось привлекать внимание. Сразу возникли бы вопросы, куда и зачем. Режим заповедной территории здесь соблюдался строже, чем на кордоне, по пустякам в тайгу не ходили. В общем, я вышел будто бы на небольшую прогулку – и по береговой тропе дошагал до горы, преодолел довольно крутой подъем, и вот я здесь. Завариваю чай прямо в чайнике. Лепешки выпекаю без масла и сковороды, на раскаленном железе печки.

И лесная хижина наполняется ароматом. Тепло и уютно. Перед оконцем сижу с кружкой, прихлебываю, отламываю куски от горячей лепешки, грызу сахар. В тайге уже сумеречно, хотя на гольцах еще тлеет солнечный свет, я этого не вижу, но знаю, что так и бывает здесь. Перед оконцем стволы пихт, кроны, уходящие сразу вниз, и никакого обзора – напротив гребень, еще одно возвышение этой же горы. В зимовье становится еще темнее. Только щели и дырки печки пропускают немного красного света. Зажигаю керосиновую лампу. Зачем-то. Читать нечего.

Может, это символический жест. Зажечь лампу, чтобы она всегда там мерцала, в этом углу амбара, во все мои ночи на Востоке, на Западе, при разговорах, чтении книг – «Моби Дика», например, этой истории, полыхающей китовым жиром, как маяк, путеводный знак для странников, – даже во сне. Иногда сквозь морок сна я его вижу, огонек на горе лесопожарной вышки. Вспыхивает он и на страницах самого лучшего лесопожарного сторожа всех эпох: на страницах книг Джека Керуака. «Бродяги Дхармы» стали моей любимой книгой, так часто я перечитываю лишь стихи: «Как-то в полдень, в конце сентября 1955 года, вскочив на товарняк в Лос-Анджелесе, я забрался в “гондолу” – открытый полувагон – и лег, подложив под голову рюкзак и закинув ногу на ногу, созерцать облака, а поезд катился на север, в сторону Санта-Барбары». В общем, там нет никакого сюжета, одно биение ритма, пульс красок и вкус цвета: некие бездельники рассуждают обо всем на свете, слушают музыку, читают стихи, попивают винцо, а потом совершают восхождение на гору. Эта гора – через океан. Там тоже лесопожарный пост, бревенчатое жилище называется по-другому: дом, хибара, – но это такое же зимовье с железной печкой, земляным полом, нарами, оконцем. Впрочем, у лежака на пике Заброшенности, где работал Керуак, был только каркас деревянный, а вместо досок – веревочный матрас. Американцы любят комфорт, а? Но его гора раза в два выше, 5000 футов, то есть почти двухтысячник, ну, если точно 1800 метров. А пики Баргузинского хребта – 2100, 2300, правда, есть и вершины более 2800. Но я-то сидел не там, в гольцах белых, а на горе у моря. На сколько она возвышалась? Ну, метров на шестьсот. Одной тысячи двухсот метров не хватает до пика Заброшенности, где покуривал у окна Джек Керуак, сочинял свои хокку:

Что есть радуга, Господи?
Обруч
Для бедных.

Мне слабо было вот так напрямую обратиться к вышним силам, к тому, что вызывает у загнанного или восхищенного животного поток священных слов. То есть знать-то знал, но для меня это ничего не значило. Много знаний. А лишь крупицы становятся живыми глазами. Керуак был на своем пике как Аргус. Ну а я довольствовался тем, что имел, – парой глаз.

Зимовье было натоплено, на голые доски я постелил пихтовых веток, загасил лампу, укрылся курткой, меня окружала теплая тьма. А проснулся среди ночи – и было светло. Да, светло как-то странно. Глянул в оконце: на земле и ветках бледнели пятна. Открыл низкую дверь, вышел на улицу. Всюду лежал снег. Небо было затянуто тучами. И вся гора укрыта плотной тишиной. Я стоял и дышал тихо. И если бы в мире что-то происходило, то непременно услышал бы. Но в эти мгновения Парки перестали сучить нити, и даже сны замерли. Хотя земля продолжала двигать крутыми бедрами, пронося море и горные пики во мгле, гору с лесопожарной вышкой и пихтами, запорошенными первым снегом, темное зимовье, но происходило это в полной тишине. Такой я уже больше никогда не услышу.

Зимовье выстыло, пришлось затапливать печку. И воздух быстро согрелся. Я растянулся на пихтовых ветках, выкурил сигарету и заснул.

Утро было серое, холодное, густо темнела зелень, снег еще не таял. Напившись горячего чая, я снова полез на вышку, посмотрел сверху на море, оно казалось свинцовым, глянул на поселок вдали: и там уже лежал снег. А я думал, что снег здесь выпадает по ярусам: сперва

гольцы, альпийские луга с озерами, где до холодов гнездятся лебеди и журавли, потом горы вроде моей, а уже в последнюю очередь – на побережье.

Я быстро спустился с вышки, растирая озябшие руки, еще раз заглянул в зимовье, выбросил пихтовые ветки и бодро пошел вниз, вниз по вьющейся среди стволов и корней тропе. В тайге оживали белки, цокали, пересвистывались птицы, но очень настороженно. Да, надвигалась зима. Хотя еще была середина сентября, 16-е, для меня это число с тех пор магическое. Это был один из лучших дней моей жизни. День полноты, равновесия и приобщения к тайному братству лесопожарных сторожей на горе Бедного Света.

Глава восьмая

Центральная усадьба заповедника после кордона казалась нам людной столицей. Здесь было две улицы, одна шла параллельно берегу, а другая перпендикулярно. В добротных домах, которые нам, жителям средней полосы, казались какими-то кулацкими, обитали лесники, трактористы, рабочие, ученые с семьями. Странными выглядели дворы: пустые, ну, может, кое-где и зеленел кедр, и всё. Здесь не было садов. На огородах выращивали неизвестно что, петрушку. Хотя кое-кто в теплицах и возился с помидорами, огурцами; теплицы приходилось отапливать. Первый снег здесь лег в сентябре, а последний мог выпасть в мае и даже в начале июня. Лето было холодное. Картошку, капусту, яблоки завозили по осени с Большой земли. Мы как раз попали на разгрузку катера с овощами.

Штормило, и катер у пирса, – коробки, сбитой из лиственниц и засыпанной камнями, – подбрасывало и било тракторными покрышками на борту о бревна, трап скрипел под нашими ногами. Мы выносили из трюма мешки, штанины и рукава на нас обледенели. Трюм небольшого катера казался бездонным. Наши лица покраснели от натуги и холода. Продавщица Алина расплатилась с нами натурой: мешком картошки на всех, палкой китовой колбасы и несколькими бутылками вина и водки. Нас было четверо работников: мы с Валеркой и еще двое бичей, Роман и Павел. Мы жили ближе к магазину, в доме-общаге, и решили пойти к нам. До нас здесь жил Дима из Грозного со своей якутской красавицей, сейчас они переселились в другую половину, там было лучше. Еще в этом доме обитали метеорологи, две женщины.

Мы начистили картошки, промыли ее и сварили, порезали колбасу, хлеб – тут был хлеб, его выпекали в пекарне, – и приступили к трапезе. Мы с Валеркой пили «Кубань», хорошее вино, Роман с Павлом водку. Чернявый сероглазый Роман был старый бич, по опыту, не по годам, лет ему было двадцать пять. Он путешествовал по великой стране, перебираясь из заповедника в заповедник, бывал на Урале, на Алтае, на Кавказе. Всюду ему что-то не нравилось: климат, порядки, начальники. Он хотел бы жить на кордоне. Но один, без старшего лесника и помощников. И чтобы кордон не был турбазой для толстозадых туристов из прокуратуры, из райкома, Главохоты, как здешние кордоны. Ириада Германа – повариха, официантка, банщица в одном лице. Сейчас построят гостиницу, и отбоя не будет от всякой пионерии пузатой, мордастой. Роман думал вообще бросить лесниковское дело и податься в профессиональные охотники, добытчики. Над таежником нет хозяина. «Кроме – хозяина», – с улыбкой заметил Павел.

Павел был тише, спокойнее, нос картошкой, длинные волосы, масленые глаза, толстые губы. Он приехал из Минска. «Так… Надоело одно и то же. Решил посмотреть…» В Минске, а точнее, где-то под Минском, он работал на звероферме, там разводили чернобурку, песцов. А тут, он слышал, разводят соболя. Ну и поехал. Только не успел, питомник соболиный в заповеднике ликвидировали. Это Павла опечалило. Он чувствовал себя обманутым. И собирался уезжать назад. Или дальше – на север, где настоящих песцов разводят. Мы так и не поняли, на север он двинет или назад, на запад, в Минск. У него была привычка бубнить себе под нос, думая, что все понимают и слышат. «Бульбнила», – посмеивался над ним Роман.

– А зимой вы здесь взвоете, – со злым азартом предупредил Роман, уходя. – Это не дом, бичарня. Провал.

Мы не поверили. Выглядел дом добротно, крепкие бревна, хорошо подогнанные полы, огромная печь. Разве сравнишь с кельней? Большие окна. И в одно видно море и далекий хребет Святого Носа.

По вечерам Валерка уходил в клуб резаться в теннис, я тоже иногда играл, но чаще предпочитал остаться дома, послушать «Альпинист-305», заварить покрепче чайку, придвинуть пустую консервную банку, закурить и раскрыть книгу.

О, для чего крылатую ладью
Лазурные, сшибаяся, утесы
В Колхиду пропускали, ель зачем
Та падала на Пелий, что вельможам,
Их веслами вооружив, дала
В высокий Иолк в злаченых завитках
Руно царю Фессалии доставить? —

зачем-то читал я…

Впрочем, плавание аргонавтов здесь легко было представить. И утренняя синь небес, бирюза Байкала оборачивались живыми красками Средиземноморья. А гольцы над тайгой высились Парфеноном. И ладьи лежали на песчаном берегу, черно-смоленые, с острыми носами. Вообще чтение грека придавало этой жизни некоторую глубину. И так всегда, во всех уголках амбара, пространство его объемно благодаря древним песням. А местные песни здесь были не слышны.

Вместе с Романом и Павлом мы составили команду бичей, нас так и называли. И наша команда занималась заготовкой дров на долгую сибирскую зиму для всего поселка. Нам с Валеркой, недорослям, не могли доверить бензопил, и мы были на подхвате у Романа и Павла; те пилили толстенные бревна, а мы стояли рядом с ломами и железными трубами, приподнимали бревно, чтобы полотно с цепью не зажимало; ну, когда рядом никого не было, давали и нам попилить, погазовать. Простая работа, но к вечеру спины не разогнешь. А еще надо готовить ужин, если твоя очередь. Питались мы опять рожками да китовыми ножками. На рыбную речку далековато было ходить. Валерка заигрывал с продавщицей Алиной, не очень-то симпатичной, но молодой, яркогубой, черноглазой и незамужней. И она давала Валерке из-под полы вино «Кубань», тогда как на полках его не было, все быстро разметали, оставалась одна краска, портвейн «Рубин» и бурятский спирт. Но Валерка добивался не этого. Не «Кубани» и сгущенки, не яблок и не свежей селедки. Алина все понимала, ей-то было уже двадцать семь, но не спешила отвечать на заигрывания кудрявого юноши. Валерке, как и мне, не исполнилось еще восемнадцати, и хотя угол здесь был медвежий, да и ближайший милиционер – за двести верст, а законов советских никто не отменял. И соглядатайство, сплетни здесь были в ходу, в соку, в собственном соку. В этом поселок мог дать фору любой другой деревне. Ведь мирок его был замкнут. Что-то вроде большой полярной станции. Вот где бурлило народное творчество, вот где созидался эпос. Валерка кое-что пересказывал, вернувшись из магазина – куда он так часто ходил не за покупками, ясно, надеюсь. Да, вздыхали мы, цивилизация…

Пекарня, свет до одиннадцати, аэродром, почта, контора. Даже музей. В нем замерли глухари, соболи, медведица со стеклянными глазами. Бутафория! Вот на кордоне живой медведь порвал бок корове и утащил теленка. Переселение сюда все-таки было отступлением. Мы жалели теперь, что сразу не воспротивились. Вдруг нас оставили бы на кордоне? Особенно раздражала обязанность каждое утро являться в контору, толпиться там со всеми, здороваться с бухгалтершами, лесничими, завхозом, замами, ждать директора. Ясно было, что и сегодня мы возьмем трубы и ломы, бензопилы и пойдем на дровяной склад. Нет, надо было получить распоряжение: «Берите трубы и ломы, бензопилы, идите на дровяной склад». Лесники занимались какими-то другими делами, чистили тропы, готовили зимовья к зиме; впрочем, это все они уже сделали летом, а теперь неизвестно чем занимались, скорее всего, к предстоящему сезону готовились, каждый из них имел охотничий участок в буферной зоне заповедника, свое зимовье, свои тропы, свои горы, свой лес. Вот кому мы завидовали зеленой завистью – лесникам. И не могли дождаться, когда же и нас примут на эту службу. Кстати, не так давно лесниковская работа приравнивалась именно к службе, и лесников не забирали в армию. Лесникам полагалась экипировка: форменные плащ, шерстяной костюм, сапоги, зимнее пальто, ботинки,

фуражка и зимняя шапка. Некоторые лесники приходили в пиджаках поверх свитеров, с дубовыми золотыми листьями на рукавах и в петлицах. А дубами-то в Подлеморье и не пахло. Уроженцы этих мест и не знают, как дубы выглядят.

Легкая тоска иногда проскальзывала, когда мы вспоминали Днепр, наш лес, да и город. Хотя мы продолжали считать себя окончательными и непримиримыми партизанами, и «назад дороги нет, товарищ!».

Коренных жителей в заповеднике было совсем мало. И одна только бурятка – а это место называлось Бурятской АССР – работала в библиотеке, симпатичная молодая женщина, но уже многодетная. Над ее столом висела фотография, где она запечатлена под руку с космонавтом Гречко на берегу перед пирсом. Остальные жители и дети толпятся чуть поодаль.

Здесь мы слышали всякие рассказы об иных краях. Рассказывали об Алтае, о Телецком озере, таком же чистом и живописном, как Байкал; о тенистых лесах Кавказа; об уральском озере Зюраткуль; о Туве; о Забайкалье, речке Чаре. Особенно меня заинтересовала эта речка… Ясно, чем в первую очередь, – названием. Хотя название, скорее всего, эвенкийское, что оно означает, не знаю, но звучит заманчиво. По наледям этой реки бродят олени. Там живут в основном оленеводы.

И мне рисовалась жизнь на Чаре: сидит патриарх на нартах, смолит трубку, вокруг ни души, только олени.

Наверное, это нелепо, смешно, но меня снова тяготил этот берег. Мне хотелось жить без электричества, кино. Вот как Хармсу. Я читал, что в его квартирке долго не было электричества. Друзья предлагали ему свою помощь, но странный Хармс был против, жил при лампе и свечах. Все-таки друзья подложили ему свинью, как это у них, обэриутов, было принято: вызвали электрика и, когда Хармс куда-то ушел, вломились в его жилье и учинили там свет. Наверняка ведь провозглашали эту здравицу. И Хармс был вынужден смириться. Но никто так и не заставил его полюбить другое техническое новшество – телефон. Он его панически боялся. И старался куда-нибудь подальше убрать, запирал в шкаф, накрывал подушкой.

Я уверен, что Хармсу тоже не понравилась бы местная электростанция, стучащая костями на весь поселок, костями, гигантской какой-то челюстью. И склад ГСМ его опечалил бы: безобразные громадины цистерны во дворе, пропитанном ядом. А еще и машинный парк, рев тракторов. Целая свора катеров и моторных лодок в устье речки; воду в ней на питье нельзя было брать, пахла бензином. Те, кто рядом жил, жаловались, ругались. Наш дом стоял дальше, и за водой мы ходили на море.

В поселке жили всякие люди, имена многих мы даже не знали, тем более не имели представления об их прошлом. Говорили, что раньше никто не запирал свой дом на ключ, а теперь времена изменились, много приезжих, у кого-то пропало масло, подсоленное, в ведре с водой лежавшее, – вместе с ведром и пропало; у другого исчез будильник; у третьего топор и свиная голова, только что забили поросенка к какому-то семейному торжеству, и т. д. И селяне начали навешивать на двери замки. Но еще были двери и без замков. Например, у нас. Ясно, брать нечего; ну, Еврипида – так он библиотечный, или «Альпинист-305», оплавленный у костра.

* * *

Как-то под вечер возвращались мы с работы, смотрим, в окне кто-то мелькает. Переглянулись, взошли на крыльцо, шагнули внутрь. Невысокий плотный мужик, курносый, с пристальными глазами. Мы его видели и в конторе, и в поселке, но чем он занимается, не знали. Похож на бухгалтера. Только в светло-карих глазах печаль. Он поправил свой картуз, кожаную старую шапку с твердым козырьком. Мы поздоровались.

– Меня зовут Гена, – сказал он.

В заповеднике так принято было – всех звать по именам, ну, кроме директора, его зама, даже смотрительницу горячего ключа, седую бабку, звали Зиной; еще было исключение: Могилевцев Игорь Яковлевич, ученый с мировым именем, соболятник.

Вот и этот мужик представился запросто.

– Я пожарный, – сказал он, – проверяю здания. Есть лестница?

Мы принесли с улицы лестницу, и он полез на чердак. Мы ждали. Вскоре он вернулся с паутиной на картузе, плечо перепачкано глиной. Он сказал, что труба в трещинах, надо глину развести и замазать. Так, может, в трещины жара и улетает, предположили мы. Он пожал плечами, но сказал, что это вряд ли. Скорее всего, дефект конструкции. Конструкции чего? Печки. Так нельзя, что ли, ее перестроить? Он вздохнул и ответил, что ее перекладывали уже три раза. Так выписали бы конструктора… из Москвы. Он засмеялся, снял картуз, заметив паутину на козырьке, и принялся счищать ее. Его крупная голова светлела большими залысинами.

– Видимо, где-то неподалеку жили? – спросил он. – От Москвы?

Мы ответили. Он кивнул.

– А… – Валерка мгновение колебался, – ты?

– Я? В Таллинне.

Валерка присвистнул. Я тоже изобразил удивление. Он вопросительно приподнял светлые брови, наморщил лоб.

– Там же у вас… свое море, – сказал Валерка.

Гена развел руками.

– Ну и что?

– Как?! – воскликнул Валерка. – Я бы пошел на корабль, в загранку.

Гена улыбнулся и спросил, почему же он оказался здесь? До Таллина было рукой подать. Ну, по сибирским меркам. Валерка покосился на меня и ничего не ответил. Я почувствовал, что надо произнести оправдательную речь. И сказал, что здесь чище и горы рядом. И солнца больше, по статистике – как в Крыму. А на квадратный километр меньше людей.

– Вот, примерно, поэтому и я здесь, – сказал Гена.

– А чем ты занимался в Таллине? – спросил Валерка.

– Перебивался, – ответил Гена. – С пятого на десятое… А кто у вас читает Еврипида? – спросил он, в свою очередь.

– Вот он, – сказал Валерка, указывая на меня. – Спектакль будет ставить, прямо на берегу. Роли древнегреческих рабов уже отданы бичам. Я ему советую ввести роль цыгана с цепным медведем. А он говорит, в Греции не было цыган. И с медведем проблемы. Какие же проблемы? Вон в музее – хорошее чучело. Отполированный нос, глаза остекленевшие, то, что надо, полная злоба.

– Ладно, ты будешь цыганом, – согласился я, – только волосы надо будет нагуталинить.

– Я их перекрашу. Но согласен на роль Зевса. Прибывает Зевс на Байкал в командировку…

– Любопытная интерпретация, – проговорил Гена, надевая картуз. – Ну что, Зевс? Пойдем со мной, я покажу, где взять глину для замазки.

Я остался разводить огонь в нашей дефектной печке, включил «Альпинист-305», чтобы послушать новости. Смысл новостей нисколько не интересовал. Просто приятно было почувствовать пропасть пространства и времени, разделяющую нас и Москву со спящим Лениным. И все там уже спать ложились. И в Смоленске, за дряхлой крепостной стеной.

– Ты знаешь, кем он был? – спросил Валерка, вернувшись с мешком, наполовину наполненным глиной.

Я смотрел на него сквозь слои дыма от печки. Валерка еще немного помолчал. Нет, в нем был какой-то природный артистизм.

– Ну, кем? – не выдержал я и закашлялся, подавившись дымом.

– Органистом, – ответил Валерка, бросая мешок возле двери. Над мешком встало облачко пыли.

– Ты не мог его там оставить?

– А замешивать на холоде, что ли, будем?.. Так ты уловил?

Я кивнул: уловил. И спросил, что же он тут делает? Валерка хмыкнул и ответил, что работает пожарником. У него даже настоящая пожарная машина есть в гараже.

– Вообще-то правильно говорить: пожарный. Они это не любят, когда «пожарник».

– Ладно, грамотей, это у Еврипида так не говорили, а у нас говорят. Ну, ты переварил?

– Ну… да, странно.

– Нет, прикинь. Таллин и… эта дыра. Орган и пожарная машина.

Я возразил, что здесь совсем не дыра, какого черта, это Байкал, сибирское море, а может, зарождающийся океан.

– Да прекрати гнать, – сказал Валерка.

– Зачем тогда ты сюда ехал?

– А чего ты ерепенишься? Патриотом таким, смотрю, стал? Сам же хочешь рвать когти?

– Да, ибо здесь слишком цивильно. Но если сравнивать с Таллином…

Валерка заржал.

– Ибо!..

За ужином Валерка сказал, что мне надо выкинуть эту идею из головы, надо залечь на зиму.

– И уйти в армию, – сказал я.

– Ну а что?

Я колебался, рассказывать ли ему про дерево Сиф. Про озарение на склоне горы за речкой Езовкой на Северном кордоне.

– Ничего, – сказал я. – Надо ехать дальше.

Валерка взялся за дужку чайника и тут же отдернул руку.

– А, черт! Еще не остыл… – Он схватил брезентовую рукавицу, положил ее на дужку, налил себе чая. И мне. Поставив чайник, он посмотрел прямо мне в глаза. – Я не маньяк.

Я молчал, задумчиво щурясь над кружкой крепкого плиточного азербайджанского чая. Я и сам не совсем понимал, что со мной происходит, чего я хочу. Забираться дальше? Зачем? Что там может быть?

Но и сейчас мне показалось, что, пока мы здесь распиваем чаи, где-то происходит главное. Таинственное главное. И туда надо было проникнуть, вот что. Это сразу почувствуешь. Оно сверкнуло, например, на склоне горы за речкой. И на вышке – а потом засеребрилось ночным снегом. И вот – исчезло.

И оставаться в поселке, возиться и дальше с бревнами я просто не мог. Я не находил себе места. Надо было что-то предпринимать.

Что тут удерживает меня, когда где-то течет речка Чара?

До рокуэлловских эскимосов нам было далеко, они вели жизнь настоящих анархистов, наверное, о подобной и мечтали Бакунин с Кропоткиным. Оба, кстати, бывали здесь. Один – занимаясь географическими исследованиями, другой – приходя в себя после казематов Шлиссельбурга. Бакунин отсюда рванул дальше – в Японию, Америку. Кропоткин, переведенный в лазарет по состоянию здоровья, улизнул в Европу. Вечный исход из России, как из Египта. Это было при Грозном, было и раньше. И до революции основная масса недовольных предпочитала скрываться во внутренних землях. Это была великая внутренняя эмиграция, великое переселение народов: раскольники уходили в леса, беглые рабы, солдаты, крестьяне искали вольного хлеба на вольных землях. Тут и появился страннический эпос – сказание о Беловодье. Народ хотел жить с Богом, но без царя, коли этот царь жесток и слеп. Вот и искали такую страну стихийные анархисты стригольники, бегуны. Целые экспедиции отправлялись на деньги мира

с заданием разыскать, где она такая есть, страна Беловодская, и что собой представляет. Одна казачья делегация добралась до Японии. Многие находили прибежище в Алтайских горах, там кое-где климат мягкий, все растет, даже виноград, не говоря уж о капусте с картошкой.

Да, империя была огромна, за Уралом – земли малолюдные, а то и вовсе безлюдные. Любое воображение дрогнет. Но следом за нищими странниками и духовидцами шли воеводы с казаками, рубили остроги, деревянные крепости, устанавливали свои правила. Так что безвинные правдоискатели, визионеры, мучимые образом обещанных Моисею еще земель с медом и млеком, а по сути дела, все тем же мифом сада с четырьмя реками, и золотом хорошим, и драгоценными камнями бдолахом и ониксом, и плодовыми деревьями, – тем берегом, – были на самом деле авангардом государства. И заимки их, лабазы, охотничьи избушки по ущельям и долинам Саян, Алтая, Хамар-Дабана, по берегам Амура были форпостами государства Российского.

Роман Архипов тоже пытался выстроить какую-то теорию, оправдать свою одержимость дорогой. Он говорил, что эта извечная русская тяга вылилась в движение всеобщего туризма. Народ, заводские инженеры, сотрудники научно-исследовательских контор, учителя, строители, шоферы устремились за город, в леса, к кострам и песням. Государственные мужи учуяли в этом нечто такое и решили направить искателей в нужное русло: БАМ, комсомольские стройки, целина. Но были среди этих прирученных бегунов и те, кто отбивался от рук и уходил все дальше и дальше. Куда? Пока из заповедника в заповедник. В СССР заповедников было достаточно: от Балтийской косы и до Камчатского побережья, от Земли Франца-Иосифа в Баренцевом море и до туркменских песков, таджикских водопадов – больше ста. Если в каждом останавливаться хотя бы на год – жизни не хватит, нужны патриаршие лета.

Я слушал внимательно.

И думаю, что Роман и подбил меня пуститься в дорогу. А сам почему-то остался. Ну, мы с ним этот вариант и не обсуждали, чтобы отправиться в путь вместе. Он называл себя волком-одиночкой и вольным стрелком. В нем и было что-то такое… в серых внимательных глазах, в повадке. На нас с Валеркой он смотрел свысока. Он-то пространствовал, служил в армии. И говорил, что не завидует нам, салагам: столько времени еще предстоит попотеть в рабстве.

Мне не хотелось рабства, меня лихорадило от того, что время уходит, а я перекатываю бревна…

И, глядя сверху на мощные зеленые склоны, гребни и выбеленные вершины по левому борту самолета, на огненно-синий студеный Байкал, я переживал ни с чем не сравнимое чувство освобождения.

Глава девятая

Я бросил заповедный берег, мне надоело томиться там. Я даже не взял ажалай дэбтэр, не желал иметь при себе трудовую книжку. Только получил аванс, собрал шмотки, ну, спальник, запасную рубашку, пару носков, и всё. Всё остальное было на мне: штормовка, свитер, брюки, шапка, связанная руками одноклассницы (школьная любовь), письма одноклассницы в кармане, на ногах – бродни. И еще взял с собой древнегреческие трагедии. Не успел дочитать.

Перед уходом я попрощался с Валеркой. Он последовать моему героическому примеру наотрез отказался. Наверное, в отмщение за мой отказ на трамвайной остановке, не знаю. Или же неприступная Алина манила его посильнее любых мифов. Впрочем, и сама была мифом, но близким и понятным.

Я пожал ему лапу, надел лямки рюкзака и потопал с оглядками к домику на взлетной полосе. Шел задними дворами, чтобы не столкнуться с начальством. Ведь меня никто не увольнял. Конечно, с увольнением я получил бы больше денег, полный расчет. Но по закону я должен был бы отработать две недели. Две недели?! Когда надо двигать вслед за солнцем, которое не устает? С нетерпением я ждал самолет. Погода вроде была ничего, но это здесь, а что там, севернее? Диспетчер, сумрачная женщина в синей форменной юбке и вязаном свитере, на мои вопросы отвечала невразумительно. А когда самолет-«кукурузник» вырулил из-за горы с лесопожарной вышкой, вышла и заявила, что Нижнеангарск не принимает, так она и знала, на севере начался снегопад, видимость упала, штормовой ветер. Я помрачнел, наверное, в два раза сильнее диспетчера и северного шторма. Что же делать? Можно было, конечно, как ни в чем не бывало вернуться в нашу общагу, распаковать рюкзак, да и жить дальше.

Летчики выгрузили какие-то ящики, один пассажир вышел, девушка с бледным конопатым лицом и выбившимися из-под вязаной зеленой шапки рыжими волосами, с объемистой сумкой, наверное, погостить к кому-то приехала. Мы взглянули друг на друга, она хотела что-то сказать, но я уже принял решение и пошел к диспетчеру, спросил, надо ли мне доплачивать за билет до Улан-Удэ? Пришлось еще раскошелиться на червонец. Летчики решили сразу возвращаться, пока сюда не пришел шторм со снегом. И я вошел следом за ними в салон, дверь закрыли, самолет громче заработал моторами, качнулся, покатился, развернулся, затрясся сильней, вдруг сорвался и побежал, побежал, как человек из каких-то кадров про то, как начиналась эра воздухоплавания; но обычно после двух-трех подскоков новоявленный Икар падал, ломал свою конструкцию, а мы – мы в самый напряженный миг оторвались от земли и быстро пошли над поселком наискосок к пожарной горе, где я провел незабываемые часы чистого одиночества и молчаливого счастья, заставившие меня на всю жизнь полюбить первый снег… Да, всего лишь снег, единственное приобретение странника, припершегося сюда за тридевять земель лаптем щи хлебать. И я прильнул к иллюминатору, стараясь все запомнить: заливчик, обширный, но неглубоко врезающийся в заповедную землю, добротный поселок на плоском высоком берегу, окаймленный зеленой тайгой, тайгой, уходящей по долине к горам Баргузинского хребта, и мыс, дойдя до которого следовало сворачивать и дальше двигаться перпендикулярно морю, вверх по тропе среди корней и красноватых стволов сосен. Мы прошли в стороне от вышки. Внизу синело море, ослепительное, солнечное. Не верилось, что за нами шествуют сплошные снега. Начинался обещанный сезон осенних штормов.

И я радовался, что успел. Я уходил на носу зимы. Впрочем, еще стоял октябрь, первая половина. И таким ярким Байкал не бывал никогда. Мне, конечно, на ум приходило греческое море. Да и летел-то я на юг. Ну, если не к Элладе, то в сторону Китая. В голове у меня уже созревал новый план.

От столицы Бурятии Улан-Удэ открывались пути дальше на восток и назад на запад. О западном пути не могло идти и речи. Только вперед, дальше, на восток. Можно, конечно,

было… Ага, внизу тайга отступила, поплыли поля, очень обширные, показались деревни, голые сопки. Пейзаж явно приобретал монголоидные черты. В конце концов всякие деревья исчезли, и всюду расстилались степи, уже на подлете к Улан-Удэ я увидел огромные табуны. Все это после дремуче-лесной байкальской стороны поражало воображение. Да, ведь тут совсем рядом Монголия. Чуть в стороне Китай. Здесь-то я впервые по-настоящему ощутил себя на окраине мира и подумал, что сумел далеко забраться от днепровских луговин и краснокирпичных стен, растрескавшихся башен на холмах родного города, самого западного, именуемого ключом к земле Русской.

Я вышел в аэропорту, огляделся. Здесь явно было теплее, суше. Солнце светило ярко. Меня окружали луноликие смуглые люди, многие из них говорили на своем языке. В автобусе громко смеялись черноволосые девушки, брызжа лукавством черных узких глаз. Некоторые мне показались симпатичными. Особенно одна, с черными косами, в яркой куртке, черных обтягивающих брюках. И я, пока автобус, покачиваясь, петлял по улицам Улан-Удэ, успел мысленно с ней познакомиться, сдружиться, пожить в ее современной квартире над Селенгой, а летом – в юрте ее деда-коневода… Но чернокосая бурятка не стала ждать и вышла на какой-то остановке. Я вздохнул. И вспомнил почему-то ту рыжую девушку в зеленой вязаной шапке, ее бледное лицо в конопушках, неожиданно яркие зеленые глаза.

Железнодорожный вокзал. Что тут добавить? Я чувствовал себя лесным народом, как говаривал Дерсу Узала, диковато озирался. Отсюда поселок на берегу Байкала показался мне местом патриархальным, вневременным. Какая электростанция? Тут все лязгало и грохотало, как десять поселковых электростанций. Я, конечно, не собирался жить на железной дороге, но все это подействовало на меня угнетающе. Я подошел к расписанию поездов. Владивосток. Москва. Чита. Красноярск. Вообще-то я собирался добираться до Чары кружным путем, самолетом до далекой Муи в Муйско-Куандинской котловине, а там на чем придется. Но уже в аэропорту я узнал, что погода нелетная до Муи минимум на двое суток. И тогда я начал подумывать о перемене маршрута. Почему бы не сесть на поезд и не покатить дальше – туда, где бродил с берданкой и котомкой, с длинным посохом кумир моих школьных лет – Дерсу Узала? На Дальний Восток, ведь сейчас он был совсем не дальним. Честно говоря, сомнения одолевали, что все так просто. Я подцепил за лямку рюкзак и пошел в буфет. Надо было поесть, а потом уже думать. Времени много. Кто меня гонит? Завхоз? Лесничий? Я взял порцию поз, громадных бурятских пельменей, приготовленных на пару, с луком и мясом, чай, хлеб, два пирожных, яблоко, шоколад. Мне очень хотелось есть. Я отвык от такой еды. И пока не вонзил зубы в пышный пельмень, не до конца был уверен, что это можно будет съесть. Оказалось, можно. Пожалуйста, за деньги почти все можно. В позах был жирный сок, он потек по моему подбородку, обжигая. Я схватил салфетку. После этого ел осторожно, стараясь не спешить. Тут же взял еще порцию, хотел сразу две, но постеснялся почему-то. Ну, одичал на бреге байкальском. Покончив с позами, принялся пить чай, пирожные исчезли с невероятной скоростью, допивал уже с хлебом, а потом крепко откусывал от большого яблока куски и чувствовал, как мысли успокаиваются, в плановом отделе все и всё занимают свои места. Но многолюдство, разнообразие лиц, голосов, неостановимое движение, раскатистые объявления диспетчера – все это не позволяло забыть, что я попал в Вавилон бурятского образца.

Выйдя на улицу, я закурил, и вновь меня кинулись терзать размышления.

Ладно, решил попробовать вариант под кодовым названием «Узала». Приблизился к окошечку узнать стоимость проезда до Хабаровска. Едва взглянув на меня, тетка сказала, что для проезда в погранзону нужен паспорт тамошнего жителя, или разрешение, или вызов. Опять вызов!

Я отошел как ошпаренный. Избитое выражение, но иногда лучше не придумаешь. Вот тебе и свобода перемещения, вот тебе и Дерсу Узала, лесной народ, амба, фанзы, лимонник, темно-синие махаоны Маака, жимолость и дикий перец с амурским виноградом…

Все ясно, дорога на Дальний Восток закрыта. Остается один выбор: речка Чара.

Но как только все остальные варианты отпали, речка Чара перестала казаться мне такой уж заманчивой.

Неотвратимость раздражает, ей хочется противоречить. Один философ говорил, что будущее нас вдохновляет свободой выбора. Да, именно поэтому мы спешим попасть в завтрашний день, в следующее лето… ну, до определенного возраста. Будущее манит свободой.

Я снова взгромоздил рюкзак на спину и потопал на остановку. По пути купил карту.

Автобус довез меня до аэропорта. Здесь в небольшом зальчике ожидания с маленькими жесткими креслицами я разложил карту на рюкзаке и погрузился в изучение жилок и прожилок и слепых кишок. Как можно было добраться до Чары? Пусть мне туда уже меньше хочется. Ну и что. Я чувствовал себя Колумбом, знающим, что корабль идет уже совсем не в Индию, но хранящим невозмутимость. Вариантов не было. Чара лежала в чаше гор и чаще тайги. Сидевший рядом со мной бурят в фетровой шляпе и толстом синем плаще с любопытством поглядывал на мою карту. Наконец не вытерпел и попросил дозволения посмотреть. Я протянул ему карту. Он долго рассматривал ее, водя пальцем по линиям, шевеля толстыми губами. Разогнулся, покачал головой и вдруг смешно, с какими-то заунывными интонациями пропел: «Только самолетом можно долететь…» Я согласился с ним, что транспортная сеть здесь не шибко развита. Я уже нахватался местных словечек. Он спросил, куда мне. Я ответил. Он покачал головой. А ему нужно было в Верхнеангарск. Но самолеты не летали ни туда, ни в мою Мую. Мы задумались… Бурят ткнул пальцем в сторону ресторана. «Пойдем пива выпьем?» – «А рюкзак?» «А вон пусть тетя посмотрит». Женщина в розовом пальто и большом коричневом берете, сидевшая слева от меня, поджала крашеные губки. По годам она никак не подходила на роль тети этому буряту. И тот поправился: девушка. Она повела бровями и сказала, что… ну, ладно, хорошо, если только недолго. Бурят засмеялся: «Думаете, так быстро кашевары все там разведут?» Она взглянула на него с недоумением: «Какие еще кашевары?» Бурят ткнул пальцем вверх: «Небесные». Женщина нетерпеливо повела плечами и не ответила.

И мы пошли в ресторан, взяли селедки, нарезанной с подсолнечным маслом и кружочками лука, хлеба и пива. Бурят экспроприировал с соседнего столика горчицу, намазал толстый слой на хлеб, сверху положил селедку, посыпал все перцем из загвазданного керамического наперстка с дырочками и, жмурясь, надкусил свой бутерброд, глотнул из горла пива. Я такого пива больше никогда не пил. Отхлебнув мутного желто-зеленоватого напитка, я сразу вспомнил виденные сверху табуны. И едва осилил свою бутылку, а селедку с хлебом всю съел, хоть она и отдавала ржавчиной. Как только бурят узнал, что я из заповедника, сразу завалил меня вопросами, что там да как. Можно было подумать, он жил где-нибудь в Москве. А может, и жил. Он сказал, что очень любит Михаила Жигжитова, писателя, охотника из Максимихи, его трилогию «Подлеморье», не читал? Я впервые слышал это имя. Оказывается, в трилогии описываются наши, то есть заповедные места, и бурят всегда хотел там побывать…

Допив бутылки скорее кумыса, чем пива, мы вышли из ресторана. Бурят сказал, что отправляется домой. А я? Что намерен поселиться в гостинице? Он может подсказать, где есть недорогая. Но я отказался. Буду еще тратить деньги, нет, здесь перекантуюсь. Бурят пожелал мне всего хорошего и летной погоды, главное, и ушел. А я вернулся в зал ожидания. Тетеньки в розовом пальто возле моего рюкзачины не было и в помине. Наверное, она все-таки обиделась на «тетеньку» и решила так отомстить. Да, со временем я уяснил простое правило: относись к женщинам, как Боттичелли, написавший свою Венеру, рождающуюся из морской пены. То есть я не уверен, что реальный Боттичелли именно так относился к женщинам – как к вечно на твоих глазах нарождающимся венерам, но я взял себе за правило именно такое отношение и называю его правилом Боттичелли.

Я устроился поудобнее и раскрыл книгу, пытаясь поймать лад Древнего мира без нелетных погод и бурятского пива. Но это было невозможно. То есть удобно устроиться в креслице.

Это было пыточное изобретение неведомого конструктора. Через пять минут все затекало, приходилось ерзать, привставать, скрипя и визжа дерматином.

Я никак не мог сосредоточиться на рассказе бога о его туристских впечатлениях. Это были «Вакханки», Пролог с речью Диониса. Он побывал там-то и там-то:

Покинув пашни Лидии златой,
И Фригию, и Персии поля,
Сожженные полдневными лучами,
И стены Бактрии, и у мидян…

Тут и я думал о покинутой центральной усадьбе среди горных склонов, о тихом поселке, двух его улочках, о библиотеке с фолиантами всемирной истории, о горе с лесопожарной вышкой, где я коснулся… не знаю чего, но это навсегда поразило мое воображение, заразило тоской по первому снегу, хвое, тишине; и думал о нашем с Валеркой жилище, какая там печка, и вид какой из окна, кедр во дворе; и думал о бане, вечной бане – там на берегу горячий источник, домик, внутри большая ванна, вверх задран широкий шланг, опускаешь его – и хлещет горячая сернистая вода, намыливайся, купайся. А я здесь сижу… грязный, невыспавшийся… Да, уже вторые сутки я торчал в зале ожидания. И просвета диспетчер не обещал. Дионис же, изведав у мидян холод зимний, посетил счастливые земли арабов и обошел

Всю Азию, что по прибрежью моря
Соленого простерлась: в городах
Красиво высятся стенные башни,
И вместе грек там с варваром живет.

Грек с варваром… Хм. Вот что значит не надеяться на летную погоду. Встал и пошел. По всей Азии. А тут до Муйско-Куандинской котловины никак не доберешься.

Дальше Дионис говорил, что он всех закружил в пляске вдохновенной. Ну да, бог вина все ж таки.

И мне тоже захотелось встряхнуться, выпить. Рюкзак я сдал в камеру хранения, заказал в ресторане обед, взял портвейна марочного. Правда, официантка с сомнением взглянула на мое лицо, щетинки под носом и на щеках, но потом перевела взгляд на бродни и треугольник тельняшки: Толик Д. на прощание, когда мы уезжали с кордона, подарил нам старый тельник и гнутую трубку, и мы по очереди таскали тельник; сейчас была моя очередь его носить, а Валеркина очередь курить трубку, – и принесла вина. Я выпил и принялся за суп с говядиной и горохом. На второе – картофель фри и две котлеты. Я снова наполнил стакан, почему-то в этом ресторане не водилось бокалов. Наполнил и мысленно восславил гору Бедного Света. Выпил и задумался, механически закусывая вторым блюдом. Когда я взошел туда, все там сияло. И все-таки в сознании запечатлелось именно тихое сияние ночного снега в оконце. Так что пусть остается первоназванной горой…

Картошка была вкусной, хоть и с легким привкусом машинного масла, но котлеты – явный хлеб, видимо, такой у них здесь второй хлеб, как в наших краях картошка. Но был еще салат: огурцы, зеленый горошек, капуста. Салат уже показался мне просто домашним изделием. Да, мама, подумал я. Твой сын сидит здесь… за тридевять земель… нигде… ни в заповеднике, ни на речке Чаре, он пропал в каком-то зазоре, затерялся. Интересно, как восприняло мое исчезновение начальство? А что сейчас поделывает в Смоленске моя Джульетта? Вино настраивало меня на романтический лад. Хотелось думать о себе как о новом герое, покорителе пространств. Не тащить дурацкого плаката и оказаться на дороге в никуда… Ха! Разве я уже не попал на эту дорогу, не выполнил завет учителя? Его эскимосы – в отличие от героев

Джека Лондона – не искали никакого золота, они просто жили в гармонии с белым безмолвием. Нет, я скорее чувствовал себя эскимосом, чем героем Джека Лондона.

Может, поехать вообще на север? На остров Врангеля? Там тоже есть заповедник: белые медведи, моржи, овцебык. Чем не Гренландия?

Я задумался.

Сидел в ресторане и выбирал судьбу. Или уже все было начертано без моей пьяной угловатости? Вот тот философ говорил о радости от свободы, которой полно будущее, но и прошлое почему-то дарит такое же ощущение, и это странно, как будто что-то там еще можно изменить? Прошлое открыто в бесконечность, как и будущее? Два таких раструба. А посредине ты, песчинка, эритроцит этой невероятной кровеносной системы.

Ведь я мог в последний момент не сесть в «кукурузник»?.. И так далее.

Сидя в ресторане аэропорта Улан-Удэ, я чувствовал сквозящий ветер прошлого и будущего. Захмелел слегка.

Глава десятая

Но чары дороги таяли с каждым днем и часом, равно как и деньги. В ресторане кормили дорого. И я еще проехался на такси по всему Улан-Удэ, закосев от Дионисовой лозы. Устроил такую пляску по сопкам столицы Бурятской АССР. Осмотрел весь город. Никаких достопримечательностей не запомнил. Только мост через Селенгу и мысль, скользнувшую вверх по ее течению, – о том, что начинается она почти в центре Азии, в Монголии. Да, все считают центром Туву. Но понятно, что координаты географического пространства и моего личного не совпадают. Центр в Монголии, на реке Онон. Я в этом не сомневаюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.